

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://baratynsky.ru/> Приятного чтения!

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин

«Необщее выражение» поэтического лица Баратынского
Ныне к Баратынскому пришла заслуженная поэтическая слава. Вещими оказались его слова: «Читателя найду в потомстве я...» Сборники стихотворений поэта выходят в свет, о Баратынском пишут много и охотно. Но при жизни он не был ни избалован читательским вниманием, ни обласкан признательной и сочувственной критикой. Лишь близкий круг истинных знатоков поэзии чутко вслушивался в его стихи и ценил их. Самые значительные, самые глубокие характеристики творчества Баратынского принадлежат его верным друзьям и поклонникам. Своеобразие таланта Баратынского первым наиболее полно и четко определил Пушкин: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

Мысль как инструмент познания горячих, чувственных впечатлений, как скальпель, рассекающий живую плоть, стала отличительным свойством поэзии Баратынского. Убедительный художественный образ высекался им благодаря мысли, но никогда не сводился к холодному рациональному понятию. Поэзия Баратынского не иллюстрировала философские теории и не была узорным эмоциональным привеском философии, расцветивающим стройную картину мира. Она обобщала конкретные жизненные явления и постигала сокровенный смысл чувственного опыта. Пробываясь к нему, мысль Баратынского уничтожала неповторимое, разрушала его трепетную оболочку во имя всеобщего, скрепляющего все живое. В этом Баратынский выступил и наследником поэтической традиции XVIII в., тяготевшего к обнажению всеобщих истин, и поэтом новой, романтической эпохи, зорко подмечающим в малейших и, казалось бы, случайных душевных движениях своих современников скрытую за ними закономерность.

С аналитической мыслью тесно сопряжена и поэтическая позиция Баратынского. Пушкин, как всегда, выразился точно: «... он шел своею дорогою один и независим». Хотя художественные искания поэта были созвучны эстетическим устремлениям 20–30-х годов XIX в., все-таки Баратынский стоял в поэзии особняком. Причины тому заключались не только в своеобразности его дарования, но и в нравственном существе поэта.

Жизнь Баратынского перевернул несчастный и предосудительный поступок в детстве, повлекший чрезмерно жестокие последствия. В Пажеском корпусе, куда Баратынский был зачислен в декабре 1812 г., он вместе со своими друзьями похитил золотую табакерку с деньгами. Непростительная шалость повлекла суровое наказание: Баратынскому запрещалось отныне служить, кроме как рядовым в армии. Все дальнейшие годы стали для него годами тяжкого искупления вины. Поэт наложил на себя суровое моральное бремя, замкнувшись в собственный мир и поверяя свои чувства и поступки высокой этической мерой. Задумчивое одиночество стало нормой его жизненного поведения даже в дружеском кругу. Впоследствии он ограничил свой быт семьей и немногими друзьями. Его уединенность наполнена неотступной думой о трагических противоречиях мира и жадной гармонии. Разрешения волнующих его мятежных вопросов он ищет в любви и в поэзии, но добывается оно тем «раздробительным», по выражению Вяземского, умом, который был для Баратынского и мучением, и могучей силой. Поэт не доверяет обманчивому непосредственному чувству и добровольно налагает на него вериги мысли, усматривая в этом подвиге свой долг и «высокую моральность мышления».

Зерно, из которого произросла поэзия Баратынского, составили два противоположных начала – материальное и духовное. Как романтик, Баратынский осмыслил мир и человека в нем в единстве и борьбе «низкой» природы (материальной, «телесной») и «высокой» (духовной, «умственной»). Отсюда характерные для поэзии того времени и для Баратынского антиномии (неразрешимые противоречия) – земное и небесное, преходящее и вечное. В отличие от Пушкина Баратынского не привлекает чувственная прелесть мира. Не привлекает его и порыв чистой идеальности, свойственной, например, Жуковскому. Ближе других ему оказывается Батюшков, сетующий на противоречивую сложность человеческого бытия. Баратынский понимает, что нельзя ни отказаться от телесного в пользу духовного, ни отринуть духовное начало ради чувственного. И то и другое равносильно гибели. Мир и человек сотворены так, что только единство двух начал, независимое от личной воли людей, составляет

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru источник жизни. И если чувство и дух при неприменном первенстве духа образуют гармонию, то человек счастлив. Однако в современном обществе, где господствует практический интерес, гармония между материальным и духовным недостижима, и противоречивость двух природных начал образует трагическую коллизию всемирного масштаба и значения. При этом в своем победительном шествии «железным путем» меркантильный век утрачивает духовность. Нарушенное равновесие чувственного и духовного губительно для цивилизации в целом. Проникая в самые утаенные, скрытые от поверхностного взгляда интимные переживания любви, дружбы, природы, творческого акта, оно искажает благу природу человека.

Противоборству материального и духовного Баратынский придавал характер извечного, неустранимого конфликта, который может быть разрешен не гражданской и вообще какой-нибудь полезной общественной деятельностью, а личными усилиями. Как полагал Баратынский, поэт может достичь гармонии только в индивидуальном художественном творчестве. Обнаруженная антиномия подвергается Баратынским беспощадному анализу.

Совершенно очевидно, что жизненной подосновой тревожных раздумий Баратынского является глубокая неудовлетворенность общественно-историческим развитием и русской действительностью его времени. Однако мятежная оппозиционность поэта не принимает формы социального протеста. Баратынский ищет «живую веру» и преодоление разрыва между материальным и духовным не на почве бытия, а в самом человеке, в его уединенном устремлении к высокому, наиболее впечатляющим и несомненным свидетельством которого оказывается искусство. Недаром Баратынскому принадлежит афоризм: «Прекрасное полезнее полезного». Чувствуя себя одиноким в «необитаемой» России, поэт обрекает себя на поиски истины, сопряженные со стойкостью и мужеством перед ударами жестокой судьбы.

Баратынский рано начал исповедовать идею, согласно которой то, что не содержит в себе одухотворенности, разумности, в неполной мере человечно. Уже первые стихотворения содержат характерное противопоставление чувственности и чувства:

Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,
Счастливы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Чувство у Баратынского «богато» духом и несовместимо со «слепой» чувственностью, которая принадлежит лишь телу. Так в распространенные в поэзии гедонистические и эпикурейские мотивы, славящие жизненные радости, Баратынский вносит новую ноту.

В поэме «Пир», обобщая эпикурейские настроения ранних лет, Баратынский славит сначала «беззаботного гастронома», «богатой знати хлебосольство и дарованья поваров». Его картины московских пиров полны юмора, насмешки, иронии. Однако утехи веселого и доброго Кома пустоваты – они не дают пищи уму. От блестящих и роскошных праздничных обедов воображение уносит поэта в иную, куда более скромную обстановку: в безвестный угол Петрограда, в тихий, уединенный домик, где стол накрыт «тканью простой», где нет ни фарфоров Китая, ни драгоценных хрусталей, а вино льется в «стекло простое». Здесь сажают «без чинов», молодость кипит свободой, и даже «звездящаяся влага», подобно пылкому уму, «не терпит плена». Антитеза барских забав и милой, дружеской пирушки очевидна и значима. Но и она далека от исповедуемого поэтом идеала. Своеобразие Баратынского состоит в том, что он переосмысливает тему пира. Его влечет пир как праздник духа, торжество ума и чувств, творческих радостей и наслаждений. Так возникает тема поэзии, вдохновенных мечтаний, призванных разгадать тайны бытия. Баратынский спешит пожать «плоды счастливого забвенья». И хотя душа уже остыла, а младость исчезла, ему все еще верится, что «приманенная» «стуком чаш» радость «заглянет в угол наш». Такое преобразование типичных для поэзии тех лет гедонистических и элегических настроений предвещает дальнейшее творчество Баратынского. Поэма «Пир» и многие стихотворения конца 1810-х – начала 1820-х годов отзвучат затем в сборнике «Сумерки», когда придет для поэта пора подводить горькие итоги сбора плодов творческого пира.

Первая поэма Баратынского замкнула важный этап его духовного развития. После нее почти исчезают из поэзии Баратынского мотивы удалого дружеского застолья, вакхических забав и любовных шалостей. Если они и возникают, то непременно отягощаются грустью, элегическим раздумьем. Счастье мнится поэту «ошибкой», и

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
«веселье» сходит с его лица.

Баратынский упорно доискивается до причин своей кручины. Он объясняет печаль не только личными обстоятельствами (жизнь в Финляндии, оторванность от друзей) или мыслью о скорбном общем уделе всех людей. Во всем ему «слышится таинственный привет Обетованного забвенья», но поэт не склоняется перед «законом уничтоженья»:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,

я, беззаботливой душою,

Вострепещу ль перед судьбою?

Не вечный для времен, я вечен для себя:

Не одному ль воображенью

Гроза их что-то говорит?

Мгновенье мне принадлежит,

Как я принадлежу мгновенью!

Он готов принять и принимает «общий удел» как неустранимый и неизбежный, находя в нем место для своего бессмертного духа. Радости жизни еще не подвергаются сомнению и не омрачаются мыслью о неотвратимом конце. Жизнь по-прежнему полна для поэта страстей и волнений, без которых она немыслима и горька.

Вскоре, однако, все меняется. Исчезает светлый, радостный тон элегий, посланий, стихотворений на случай и даже эпиграмм. Печаль пронизывает лирику Баратынского, и за ней угадывается продуманный жизненный опыт. Поэт сосредоточен на кратких интимных моментах психологических состояний, представляющих, однако, целые повести о его внутреннем мире. Баратынский предельно обобщает традиционные элегические чувствования, которые становятся уже не временными и преходящими признаками его души, а постоянными спутниками его человеческого облика. Если он пишет о разлуке, то это вечная разлука, после которой не остается ничего, кроме «унылого смущенья» («Расстались мы; на миг очарованьем...»). Если он пишет о постигшем его разуверенье («Разуверенье»), то это чувство обнимает его целиком, и он не верит не в данную, конкретную любовь, а в любовь вообще. Ему изменили «сновиденья», он разочарован во всем, обнаруживая в себе «старость души» – характерную отличительную примету человека начала XIX в. И наконец, если он уныл («Уныние»), то ничто, даже «пиров веселый шум» и близость восторженных друзей, не вызволяет его из печали:

Одну печаль свою, уныние одно

Унылый чувствовать способен.

Своеобразие Баратынского, однако заключается не только в предельной обобщенности элегических чувств, но и в беспощадном их анализе, и в разумном отчете о вызвавших их причинах. В элегии «Признание» вера в любовь и самую ее возможность оказывается иллюзией, «обманом», и вовсе не потому, что герой изменник. «Я не пленен красавицей другою...» – говорит он. «Хлад печальный» уже проник в его душу вопреки жажде любви, личным желаньям («Душа любви желает» – признается он).

Обычно в лирике начала XIX в. слово «признание» употреблялось в устойчивом сочетании «признание в любви». В стихотворении Баратынского говорится, напротив, о признании в не-любви. В грустном повествовании об исчезнувшем чувстве и пылкая первоначальная любовь, и милый образ возлюбленной, и прежние мечтанья – печальная история двух людей. Над героем тяготеет рок, независимая от него фатальная и безжалостная сила, под власть которой он подпадает. И не он уже торжествует над ней, а наоборот – близка ее «полная победа» над героем. Горечь, испытываемая им, безусловна: он вынужден покориться общей участи, стать таким, как все, что для Баратынского, ценившего и оберегавшего свою оригинальность, особенно тяжело. В то же время глупо и противиться всеобщей участи, коль скоро она неизбежна возьмет верх. Баратынский раньше других романтиков увидел предел, положенный личной воле человека. В прославленных элегиях он отбросил всякие

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
иллюзии, будто человек по своему праву и прихоти способен сотворить личную судьбу или изменить лицо мира. Напротив, он сам – благодатный и податливый материал для «законов» и обстоятельств, которые лепят его духовный лик, столь подозрительно похожий на других. Психологически точная передача тайных изгибов души, их бесстрашный рассудочный анализ и бескомпромиссность конечных безотрадных итогов отличают элегии Баратынского от образцов этого популярного в 1820-е годы жанра.

Поэт вскрыл реальные противоречия в душе современного ему человека и сделал их предметом объективного обзора. Всеобщее, по Баратынскому, проявляется независимо от желаний художника, от личных чувств персонажей. Как бы ни утешали они себя сладостными иллюзиями, истина проступает вопреки им.

Задача поэта состоит не в том, чтобы выстраивать поверх жизни свое идеальное представление о ней, а извлекать действенную, реальную всеобщую закономерность. С этой точки зрения Баратынский не принимает лирического тона поэм Байрона, романтических поэм Пушкина и тогдашней поэмы романтиков вообще. В начале 1830-х годов он писал И. Киреевскому: «Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В стихотворениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба – поэты самости... Байрон безусловно предается думе о себе самом...» Руссо Баратынский адресует упрек: «В романе Руссо (“Новая Элоиза”. – В.К.) нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта... Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица – Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке». Слова Баратынского очень напоминают высказывания Пушкина о поэмах и мистериях Байрона, но Баратынский, пожалуй, даже раньше отклонился от традиции Байрона. В 1824 г. он создал стихотворную повесть «Эда», в которой намеренно ушел в сторону как от байронической восточной поэмы, так и от романтической поэмы Пушкина.

Новаторство Баратынского заключалось в том, что он, следуя, по видимости, проблематике романтических поэм Байрона и Пушкина (столкновение человека цивилизованного общества и простодушной дочери непросвещенного народа), резко противопоставил автора герою. Повествователь у Баратынского по своему духовному строю далек от «гусара», лишенного каких-либо автобиографических черт. Баратынский избрал героем поэмы человека «низких» страстей. Гусар у него – светский обольститель, наделенный нравственными пороками света. Любовь его к Эде – еще одно приключение, рассеивающее скуку. Чувство же Эды вполне серьезно. Высокий романтический сюжет Баратынский перевел в обыкновенный план. Отсюда и мотивировка пребывания гусара в Финляндии вполне проста. Она связана не со свободолобивыми порывами души, не с презрением к светскому обществу или к ложной городской цивилизации. Гусар, как военный, подчиняется дисциплине и вынужден служить в Финляндии. Разрыв с Эдой также объяснен вполне обычными обстоятельствами: гусару вскоре надоела «любовь тоскливая» Эды, и он только дождался дня, чтобы вместе с полком уйти на войну:

И миг разлуки призывал

Уж как свободы миг счастливый.

Тем самым Баратынский отказался от героя с мрачной, таинственной судьбой, окруженного сочувствием автора.

Избегнув лирического тона, поэт драматизировал содержание «Эды», построенной как драма в трех актах, где гибель героини заранее предreshена. Но оригинальность поэмы не только в этом.

Баратынский написал стихотворную повесть о противоречиях страсти, о борьбе разных чувств в душах его героев. Его волновало их развитие, переданное через внутренний конфликт. В простоте истории он усмотрел необыкновенное, исключительное философско-эпическое содержание.

Несмотря на предупреждение отца, «крутого старика», разгадавшего «негодяя», и разумом усвоенные предостережения («Нам строго, строго не велят дружить с вами. Говорят, что вероломны, злобны все вы; что вас бежать должны бы девы, что как-то губите вы нас...»), Эда полна любви к гусару. В ее сердце вошла страсть. Пылкое чувство Эды преодолевает свойственную ей природную стыдливость:

Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.

И вот уже «гибельная страсть» торжествует над целомудренной наивностью, подавляет волю бедной Эды, губит простое сердце. Внутренняя борьба, происходящая в Эде, и составляет драматическую пружину поэмы. При этом характер гусара при всей его ясности предстает героине сложным и необычным. Гусар коварен, зол, ветрен, но он обаятелен и обольстителен наружным блеском:

Как он самим собой владел!

С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромной,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй!

В его речи возникают «высокие», патетические интонации:

Лишь мраки ночи низойдут,
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту
Моей любезной – о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я.

Эту таинственную, притягательную мощь порока, его красивую оправу чувствует на себе Эда, называя гусара-демона «лукавым духом». Баратынский вскрывает зло в обличье добра, «низкое» в красивой оболочке, скудно-простое и заурядно-обыкновенное во внешне сложном. Так входит морально-философская тема в поэму, повествующую и о том, как переплетаются красота и безобразие, порок и добродетель, обыденное и исключительное. Пристальный интерес к обыкновенному привел Баратынского к открытию необычайного в простом. И это выступило у него заранее определенной закономерностью, независимой от конкретно-исторических условий, которые никоим образом не влияют на характеры героев, на развитие страсти, на противоречия души.

Однако Баратынский не довольствуется открытым им «законом». В частных и случайных лирических «событиях» он прозревает их всеобщий и «вечный» смысл. Его волнует отношение человека к жизни, смерти, истории, истине, природе. Трагический удел человека на земле, по мысли автора, зависит от его изначальной двойственности – сопряженности в нем духовного и телесного, нетленного и бренного, земного и небесного. Человек не может вырваться из своей противоречивой природы, но оба начала в нем одинаково законны. Несмотря на власть роковых предначертаний, та же «всевидающая» и грозная судьба внушила ему порыв к духовности, свободе, гармонии и счастью. И как бы ни был слаб человек, не находящий родного приюта ни на

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
земле, ни на небесах, в нем не умирает святое беспокойство. Он подчиняется как неведомым ему предначертаниям «рока», так и своим личным, вполне земным страстям, которыми оплачивает жизнь, принося их в жертву суровой предопределенности. Даже интимные чувства и идеальные мечтания, не подверженные, по уверениям романтиков, власти «закона» и сохраняющие свою суверенность, у Баратынского не избегают общей доли:

Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотолле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон.

Из всего этого видно, что жизненная философия Баратынского – глубокое разочарование в мироустройстве – как нельзя лучше срифмовалась с поэтической философией элегического жанра, призванного запечатлеть и выразить грусть, печаль, одиночество и неудовлетворенность человека в земном бытии. Поэтому Баратынский сразу был признан элегиком-новатором, двинувшим вперед русскую элегию. В немалой степени такая оценка объяснялась особенностью элегий Баратынского, состоящей в том, что поэт «не растревлял своей души», как выразился он в одном стихотворении, тонкими переживаниями и не погружался в тайники внутреннего мира. Он всегда стремился дать себе отчет в причинах разочарования и потому выводил его на Божий свет, чтобы подвергнуть мыслительному анализу, отдать его во власть разума и даже холодного рассудка. Баратынский не воспроизводит переживание во всех его извилах и переплетениях – он думает над ним, размышляет о нем. Это размышление мучительно для самого поэта, потому что будто острым скальпелем, не прибегая к наркозу, он подробно и тщательно, с ледяным и жестоким бесстрашием духовного лекаря рассекает чувство. Но удивительное дело! Доискиваясь до причины страданий, – а для поэта жизнь и страдание неразлучны, – мысль Баратынского оказывается целительной, примиряя человека с несовершенными жизненными законами и в то же время не давая им подмять под себя достоинство личности. У человека всегда есть выбор, даже при всем фатализме бытия, при всей обусловленности высшими законами мироздания, независимыми от людей. Поэзия Баратынского – это вечный спор человека, наделенного могучим умом и сильными чувствами, с законами бытия. Человек Баратынского живет по заранее предписанным (но не им!) правилам. Так случилось, что в человеке соединено духовное и физическое, что он принадлежит одновременно и небу и земле, что он мечется между землей и небом, оторвавшись от природы, «естества», и в своем духовном полете не достигает Небесного Царства. И все-таки, несмотря на предопределенность бытия и всякой человеческой судьбы, если рассматривать их в философско-поэтическом плане, такая обусловленность вовсе не безнадежна и не безысходна.

В пушкинской поэме «Цыганы» Старик, объясняя Алеко своеобразие «сердца женского», которое любит «шутя», сравнивает его с луной:

Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот – уж перешла в другое
И то недолго посетит.

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Кто место в небе ей укажет,

Примолвя: там остановись!

Кто сердцу юной девы скажет:

Люби одно, не изменись?

Для Пушкина бытию свойствен один закон – закон свободы. Нельзя принудить сердце, если оно того не желает, если оно уже разлюбило, любить «одно», как нельзя приказать луне освещать только это облако и ни в коем случае не лить свой свет на другое. Все в природе свободно. Иначе у Баратынского. У него все заранее предопределено. Как и у Пушкина, всюду царствует тоже один «закон», но только противоположный:

...безропотно текут речные воды

В указанных берегах, по склону их русла;

Ель величавая стоит, где возросла,

Невластная сойти. Небесные светила

Назначенным путем неведомая сила

Влечет. Бродячий ветер не волен, и закон

Его летучему дыханью положен.

Что же остается человеку? Ему надобно, казалось бы, послушно согласить «свои мечтания со жребием своим». Но именно в этом месте в стихотворении Баратынского «К нему невольнику мечтания свободы?..» происходит слом поэтической мысли. Вслед за элегическим раздумьем об извечном законе судьбы, кладущем предел стихийной «воле» природы и «мятежным мечтам» человека, поэт неожиданно открывает новую грань своей мысли:

Безумец! не она ль, не вышня ли воля

Дарует страсти нам? и не ее ли глас

В их гласе слышим мы?

Значит, «закон» бытия состоит и в его предначертанности, и в свободе. Он предлагает человеку и покорность, и несогласие. А это и есть выбор. Здесь Баратынский сходится с Пушкиным. Однако выбор этот, в отличие от Пушкина, у Баратынского весьма невелик: человеческая жизнь бьется в тесных пределах фатализма, поэтому и смирение, и мятеж заключены в жесткие рамки одного закона, не предусматривающего безграничной свободы. Недаром это стихотворение Баратынский закончил горькими словами:

О, тягостна для нас жизнь, в сердце бьющая могучею волною И в грани узкие
втесненная судьбою.

Мятеж в душе человека, восстающего против своего «удела», оказывается столь же предназначенным, как и смирение. Сама «беззаконность» протестующих страстей, голоса жизни осознана вполне законной. И в этом состоит неразрешимый парадокс, побуждающий поэта скорбеть о скудных возможностях человеческой души. Но из тех же серьезных и глубоких сомнений Баратынского вырастает и страстная жажда гармонии, совершенства, единства телесного и духовного начал. Их примирение достигается не разумом и не чувством, а творческим преображением. Лишь поэзия способна разрешить конфликт между мятежными страстями и «вышней волей». Она одна умиротворяет бунтующую душу и врачует ее.

В юности Баратынский исповедовался в письме к Жуковскому: «Посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий». И для искупления вины он всколыхнул в себе такие духовные силы, на какие, по его признанию, не был бы способен, не пошли ему судьба этого испытания. «Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
ежели сильно потрясло душу, то может быть, развилось в ней много способностей, дотоле дремавших?» – убеждает он своего друга Н.В. Путяту, сравнивая Шекспира с пахарем, плуг которого одновременно и раздирает и плодотворит землю. Автобиографический смысл этих слов не подлежит ни малейшему сомнению. «Две области – сияния и тьмы» существуют сопряженно, а поэтому требуют равного внимания и слитного исследования. Правда заключена не в отъединении «сияния» от «тьмы», но в нерушимости их противоречия. Порок и высший взлет человеческого гения могут иметь один источник. Поэтическое чувство рождается из дерзновенного поступка. Отдаваясь на волю своим страстям, человек совершает бунт. Он бросает вызов нравственному закону и сам становится его жертвой. Его мятеж носит стихийный, бессознательный («безумие забава») и сознательный, духовный («пир злоумышленья») характер. Отрицательный опыт неминуем, как и положительный, и надо заранее согласиться на него и открыть себя жизненным скорбям. Но поэт – не злодей, хотя злодейство порой выступает побудительной причиной его гения, который усмиряет бессознательный порыв, а подчиняясь нравственному закону, охлаждает пыл сознательного умысла. Тем самым он утверждает правду и на земле, «и выше». Только отдав сердце страданиям, поэт (и человек вообще) окажется достоин очистительного мгновения.

Трагическая лирика Баратынского знает эти блаженные минуты катарсиса, в которых заключены для поэта смысл творческого преображения и оправдание жизни.

Ничто не может успокоить больную, раздвоенную, разорванную, скорбящую душу – ни вера в Бога, ни любовь. Холод жизни, неизбежное страдание становятся уделом души, которая, утратив надежды на достижение идеала, не может найти гармонии и согласия в мире, не может примирить присущие ей противоречия. Баратынский, в отличие от Жуковского, не может найти утешение ни в «очарованном Там», за пределами земной жизни, ни, в отличие от раннего Батюшкова, уединиться в свой счастливый домик или простую хижину, не может, в отличие от Пушкина, обрести душевное здоровье на почве той самой жизни, которая несет и страдания, и упоение гармонией. «Больная» душа поэта не может излечиться в «большом» мире. Но в таком состоянии она не может и творить. Для того чтобы поведать о мировой дисгармонии, нужно сначала исцелиться, нужно обрести гармонию, успокоение, ясность мыслей и примирение чувств в самом себе. Для этого нужно победить «болезнь духа», преобразив ее в гармонию стиха. И только потом преображенная творчеством душа, уврачеванная от страданий, перейдет в души людей, неся им через излитые мерные стихи весть о желаемой гармонии всего сущего.

Об этом одно из лучших своих стихотворений Баратынского «Болящий дух врачует песнопенье...»:

Болящий дух врачует песнопенье.

Гармонии таинственная власть

Тяжелое искупит заблужденье

И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,

Разрешена от всех своих скорбей;

И чистоту поэзия святая

И мир отдаст причастнице своей.

Бросается в глаза обилие религиозной, церковной лексики, устаревших слов и оборотов речи. Поэтическая речь, поэзия названы «песнопением», подобно молитвам; гармония наделена таинственной властью, она представляет собой некое таинство, сравнимое с религиозными и церковными таинствами. Выражение «искупит заблужденье» относится к тому же ряду: заблужденье – это грех, который надлежит искупить. Стих «Разрешена от всех своих скорбей» означает, что душа освобождена от заблуждений, сомнений, что ей прощены грехи. Слово «причастница» именуется живую, постороннюю певцу душу, которая, словно церковным причастием, приобретает к Богу и становится близкой и родной поэту. Наконец строка «И чистоту поэзия святая» прямо характеризует поэзию религиозными качествами. Все это служит созданию торжественности творческого акта. С этой же целью поэт использует

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru инверсию («Болящий дух врачует песнопенье»). В стихотворении совершается поэтическое таинство, родственное религиозному, церковному. В ходе его душа человека исцеляется, и он превращается в поэта, который может гармонично, стройно, выразительно передать читателям через стихи уже не болезнь и скорбь духа, а уврачеванную, полную духовного здоровья душу. В этом для Баратынского и заключалась могучая сила поэтического творчества.

Поэзия стала для Баратынского не отражением чувственной прелести мира, а магическим кристаллом, сквозь который просматриваются его тайны. «Выразить чувство, – писал он, – значит разрешить его, значит овладеть им». Слово – синоним мысли, порывающей с бессознательной стихийной эмоциональностью других искусств («Все мысль да мысль! Художник бедный слова!»). Перед словом-мыслью, как покрытая смертной истомой, «бледнеет жизнь земная», тускнеют ее яркие краски и прерывается дыхание. Но, умерщвляя реальность, поэт дарует жизнь своему творенью, наполняя его звучащим духом. И совсем не исключен для Баратынского тот миг, когда «поэзия святая» отдаст «и чистоту», «и мир» не только «душе певца», но и всему бытию.

Последний сборник стихотворений Баратынского «Сумерки» включает в круг «вечных» тем, волнующих поэта, тему поэзии как последней и единственной пристани для бьющегося над разгадкой тайн бытия «больного», но исцеляющего духа. Творческий акт предстает у Баратынского трудным испытанием. Для «легкого дара» поэзии слишком тяжела «дума роковая». Прежде чем согласно излиться в стихах, душа страдает, терзается муками сердечной потребности в цельности чувства и мысли.

Гармония стихов, их звуковая и ритмическая упорядоченность добывается ценой преодоления косной словесной материи. В лирике Баратынского почти физически ощутим прорыв из затрудненного синтаксиса, насыщенного устаревшими оборотами речи, инверсиями, из архаической лексики и совсем не «пленительных», ласкающих ухо звуков в мощную, гармонически стройную, благородную и суровую музыку.

В «Сумерках» поэт нашел конкретно-историческую почву для своих философских размышлений. В них открывается величественное зрелище человека одинокого в обществе, в мире, во вселенной, но сохраняющего духовность и причастного к поэзии среди чужого ему практического и бездуховного царства. Баратынский обзревает историю человеческого рода, обращаясь к легендам, мифам, преданиям, возникшим на заре нашей цивилизации. Антологическими темами, мотивами, образами насыщены стихотворения «Последний поэт», «Алкивиад», «Ропот», «Мудрецу», «Ахилл», «Скульптор», «Филида с каждой зимой...», «Здравствуй, отрок сладкогласный...», «Что за звуки? Мимоходом...», «Рифма». Они образуют исторический фон трудного развития человечества, неумолимо идущего, по Баратынскому, к духовной гибели. Из мира уходит поэзия, и только одинокий поэт хранит ее огонь. Для Баратынского поэзия – это символ нераздельности ума и чувства, высокой культуры, творческого гения. Но современный мир неуклонно изгоняет легкокрылую мечту, светлое сознание, бескорыстие произвольных душевных движений. В «Приметах» поэт написал о пагубном разрыве между разумом и чувством, о той пытке, которой человек подверг природу ради «суеты изысканий». Мысль Баратынского заключается не во враждебном отвержении разума, а в том, что разум выступил корыстным, эгоистичным, себялюбивым, презирающим самоценность природы и лишенным сердечности, добра. В ответ «сердце природы закрылось» человеку. Ему стало доступно одно лишь «тело», «материя», «плоть». Тем самым человек духовно обеднил себя, потому что ему нечем питать свою душу. Это оскудение души, вынужденной жить «повтореньями», замкнутой одними и теми же впечатлениями, неизбежно ведет к безумию. Тело же, потерявшее разум («На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»), тупо «глядит, как утро встанет...». Сама возможность раздельного существования души и тела трагична, но еще больший ужас вызывает у поэта бессмысленное тело, начисто лишенное одухотворяющего сознания.

Воскрешая в «Сумерках» старые эпикурейские темы пиров и жизненных наслаждений («Бокал», «Осень»), Баратынский сообщает им высокий трагический смысл. Осень – пора увяданья природы и сбора урожая, пора подведения итогов деятельности человека и человечества в истории. И для отдельного «оратая жизненного поля», и для всего человечества «грядущей жатвы нет». Итог размышлений Баратынского печален – гибнет дух, и плодами созданных им ценностей некому наслаждаться. Поэтому не нужна вселенная без человека, не нужна бездуховная, «слепая», не осознающая себя красота и культура. Но это бесстрашное и гуманное знание открывается только одному духу, причастному высшим откровеньям:

В немотствующей пустыне

Обретает свет высок.

Символом этого «света» и выступает «последний поэт», славящий рифму, которая своим «отзывом» примиряет спорящие в нем порывы души. Не находящий отзвука и признания в мире («Но нашей мысли торжищ нет, Но нашей мысли нет форума!»), Баратынский скорбит о счастливом времени, когда поэт был голосом народа.

Так трагический лирик, склонный утвердить в качестве единственно возможной и единственно достойной позицию гордого и независимого одиночества, обнажает тайное желание быть рядом с людьми и писать для них. И в этом движении мысли Баратынского от «Последнего поэта» к «Рифме», а затем к просветляющим стихам «Пироскафа», созданным уже после «Сумерек» на закате жизни, состоит выстраданный итог его творчества. Эта тоска по общественно значимой поэзии, необходимой людям, обнажает жившее в Баратынском горячее желание восстановить прерванное единство между ним и поколением, стать выразителем народного форума.

Бесспорным ответом на запросы времени, кроме лирики и поэм, была, в частности, фантастическая повесть «Перстень». Сюжет ее состоит в том, что выдуманная любовь поработывает человека. Фантастическое в повести отчасти становится предметом иронии. Следуя за традицией фантастической прозы и фантастических повестей, получивших широкое распространение в 1820–1830-е годы, Баратынский прочно вписывает героев в поместный и светский быт, но героем повести он избирает душевно нездорового человека. Всерьез восприняв средневековые представления о прекрасной даме сердца, Опальский сделался добровольным страдальцем своей вымышленной возлюбленной и благородным рыцарем подаренного ей перстня. Дама эта – Марья Петровна – обыкновенная русская дворяночка, однажды в праздник явившаяся в наряде испанки и отдавшая предпочтение Петру Ивановичу Савину. Большое воображение Опальского преобразило обычную историю в мираж: он написал о ней повесть, в которой возомнил себя доном Антонио, Марью Петровну – донной Марией, а Петра Ивановича Савина – доном Педро де ла Савина. И хотя в жизни остался Опальским, но предался, подобно средневековым алхимикам, бесчисленным опытам, за что его в округе называли чернокнижником. Наложенный Опальским на себя строгий обет безбрачия и верности платонической любви переведен Баратынским в план таинственного и фантастического, хотя и с изрядной долей иронии, которой подверглось рыцарское поведение, странное и необъяснимое в сравнении с господствующими нравами. В конце концов все встало на свои места, и фантастика рассеялась как дым. Ирония Баратынского над нелепыми выдумками очевидна, но столь же очевидна и горечь: преданная и бескорыстная любовь жила в сердце безумца. Но не безумец ли тот, кто подчинился власти ослепившего его воображения и так преступно распорядился своей судьбой? Ясность ума, озарившая перед кончиной Опальского, заставляет его признать свое поражение. Однако одновременно с этим Баратынский побуждает читателя оценить степень его «мечтательных страданий», скрашенных к минуте смерти дружбой, не употребленной во зло. В такой глубине и сложности рисуется Баратынскому история загадочного перстня.

Ни своей поэзией, ни своей прозой Баратынский не приблизил к себе симпатии нового поколения, пришедшего на смену Пушкину, поэтам пушкинского круга и Лермонтову. Но как бы зыбки ни были надежды Баратынского на сочувствие современных ему читателей, он гордо встал на защиту возвышающей человека духовности, решал «мятежные вопросы» вселенского масштаба и значения, внятные и нам, его далеким потомкам. Вот почему бесконечно справедливы слова Белинского: «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал... Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека – предмет вечно интересный для человека».

В.И. Коровин

Стихотворения

Взгляните: свежестью молодой

Взгляните: свежестью молодой

И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит – и путь не продолжает!

1818 (?)

Портрет В..
Как описать тебя? я, право, сам не знаю!

Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела;
Во всем, что лишь в тебе встречаю,
Непостоянство примечаю, –
Но постоянно ты мила!

1818

К Креницыну
Товарищ радостей молодых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свидетелю с тобой! в объятиях твоих
Мне дни минувшие как смутный сон предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств, и сладость упования!..
Все хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? – Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее;
Он осторожней стал, быть может, стал умнее,
Но, верно, счастьем теперь стократ бедней.
Не подражай ему! или своей тропею!
Живи для радости, для дружбы, для любви!
Цветок нашел – скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!

Когда рассеянно, с унынием внимать
я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участие,
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Все можно возвратить – мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в темну даль,
я встретить радость мнил – нашел одну печаль,
и сердце милое исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? Мой друг еще со мной!
я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной!
Пусть будет прочее мечтой!

1819, июль

Дельвигу
Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, ходя не рад,
Но теперь я муз и граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер воина тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!
Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!

Обегает уж ряды;
Кличет ратников по-свойски.
О, судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда – на развод.
Вам, свободные пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль каноны, или хариты
В карауле навестят.
Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.

1819, июль

Прощанье
Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,
Младую деву под плащом
Вести в альков уединенный.
Бежит изменница любовь!

Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она.
Не смейтесь, девы наслажденья,
И ваша скроется весна,
И вам пленять недолго взоры
Младую пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
я слышу горькие укоры?
я прежде бодр и весел был,
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он, сколько мог, любви служил.
1819, август
Тебе на память в книге сей
Тебе на память в книге сей
Стихи пишу я с думой смутной.
Увы! в обители твоей
я, может статься, гость минутный!
С изнемогающей душой,
На неизвестную разлуку
Не раз трепещущей рукой
Друзьям своим сжимал я руку.
Ты помнишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.
Покинул я предел родной!
Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день, другой,
и, как узнать? в стране чужой
Окончу я мой век унылый;

А ты прибудешь в дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых счастливых годов
Вспомянешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,
Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы, враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Ты их задумчиво прочтешь,
Глаза потупишь молчаливо..
И тихо лист перевернешь.

1819, август

Итак, мой милый, не шутя
Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге
От нас, увы! далёко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!
О милый мой! согласен в том:
Завидно счастье такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам, чрез меру важным.
Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,

Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть, в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

1819, декабрь

Он близок, близок день свиданья
Он близок, близок день свиданья,

Тебя, мой друг, увижу я!

Скажи: восторгом ожиданья

Что ж не трепещет грудь моя?

Не мне роптать; но дни печали,

Быть может, поздно миновали:

С тоской на радость я гляжу,

Не для меня ее сиянье,

И я напрасно упованье

В больной душе моей бужу.

Судьбы ласкающей улыбкой

Я наслаждаюсь не вполне:

Всё мнится, счастлив я ошибкой,

И не к лицу веселье мне.

1820, январь

Поэт Писцов в стихах тяжеловат
Поэт Писцов в стихах тяжеловат,

Но я люблю незлобного собрата:

Ей-ей! не он пред светом виноват,

А перед ним природа виновата.

1819, январь

Расстались мы; на миг очарованьем,

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя,
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я всё имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

1820, январь

К Кюхельбекеру
Прости, Поэт! Судьбина вновь
Мне посох странника вручила;
Но к музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!
Прости! Бог весть когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И негу праздного досуга!
О милый друг! все в дар тебе –
И грусть, и сладость упования!
Молись невидимой судьбе:
Она приблизит час свиданья.
И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.
Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья? –
Пускай пред ней сольются там
Друзей согласные моленья!

1820, январь

Где ты, беспечный друг
Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекий,
На финских берегах между пустынных скал
Бродящий с грустью одинокой?
Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?
Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?
«Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!» –
За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.
И вот сгустилась ночь, и все в глубоком сне –
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.
К знакомцу доброму стучится Купидон, –
Пусть дремлет труженик усталый!
«Проснися, юноша, отвергни, – шепчет он, –
Покой бесчувственный и вялый.
Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливица ждет моя Лилета?»
Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;
Кто без уныния глубоко жизнь постиг

За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!
Давно румяный феб прогнал ночную тень,
Давно проснулись заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.
И Лила спит еще; любовью горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.
И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!
И я, певец утех, пою утрату их,
И вокруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

1820, январь

К<рыло>ву
Любви веселый проповедник,
Всегда любезный говорун,
Глубокомысленный шалун,
Назона правнук и наследник!
Дана на время юность нам;
До рокового новоселья
Пожить не худо для веселья.
Товарищ милый, по рукам!
Наука счастья нам знакома,
Часы летят! – Скорей зови
Богиню милую любви!
Скорее ветреного мома!
Альков уютный приготовь!
Наполни чаши золотые!

Изменят скоро дни младые,
Изменит скоро нам любовь!
Летящий миг лови украдкой, –
Игея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет, –
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!

1820, январь

Незнаю? милая Незнаю!
Незнаю? милая Незнаю!

Краса пленительна твоя:

Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.

1820, февраль

Финляндия
В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным;
Подобно им, да будет он
Во все години неизменным!
Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными водами
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел – и смотрится в зеркале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор

Алмазных звезд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!
Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развевал буйный ветер торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов,
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!
И всё вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от берега к берегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив, скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, всё своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!
Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,

Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, не внимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

1820, февраль

Твой детский вызов мне приятен
Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, руки с рукой,
Кружатся юноши и девы,
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,
Дриады, фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими,
Поодаль музы между тем,
Таясь в сумраке дубравы,
Глядят, не зримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?

Дарует лире вдохновенье,
Не поверяет он его;
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

1820, февраль

Живи смелей, товарищ мой
Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шуточный!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг неизвестный забавы!
Всех смертных ждет судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа-болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

1820

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам
Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья;

Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливых тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоление!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? Все раны, все недуги,
Всё расслабление души твоей больной;
Забыв и свет, и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханье пить
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,
Счастливы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Пора покинуть, милый друг
Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещаний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век молодой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытись буйным наслажденьем,
Пресытись ласками цирцей,
Шепчу я часто с умилением
В точке задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участие
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою

Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
я проведу остаток дней,
и тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..

1820, февраль

Весна (Элегия)
Мечты волшебные, вы скрылись от очей!

Сбылися времени угрозы!
Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
Поблекли утренние розы!
Благоуханный май воскреснул на лугах,
и пробудилась Филомела,
и Флора милая на радужных крылах
К нам обновленная слетела.
Вотще! Не для меня долины и леса
Одушевились красотой,
и светлой радостью сияют небеса!
Я вяну, – вянет всё со мною!
О, где вы, призраки невозвратимых лет,
Богатство жизни – вера в счастье?
Где ты, молодого дня пленительный рассвет?
Где ты, живое сладострастье?
В дыхании весны всё жизнь младую пьет
и негу тайного желанья!
Всё дышит радостью и, мнится, с кем-то ждет
Обетованного свиданья!
Лишь я как будто чужд природе и весне:
Часы крылатые мелькают;
Но радости принести они не могут мне
и, мнится, мимо пролетают.

1820

Рассеивает грусть веселый шум пиров
Рассеивает грусть веселый шум пиров.

Вчера, за чашей круговую,
В семействе дружеском соратных шалунов
Мечтал воскреснуть я душою.
Туман полуночный на холмы возлегал,
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна – и пенистый фиал
С весельем буйным осушали.
Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили;
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.
Того не приобрести, что сердцем не дано,
Всесильным собственною силой;
Одну печаль свою, уныние одно
Способен чувствовать унылой!

1820, июль

Шуми, шуми с крутой вершины
Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины.
Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрипучей,
И с непогодю ревучей
Твой рев мятежный согласен.
Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?
Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.
Шуми, шуми с крутой вершины,

Соединяй протяжный вой

С протяжным отзывом долины!

1820, июль

Чувствительны мне дружеские пени
Чувствительны мне дружеские пени,

Но искренне забыл я Геликон

И признаюсь: неприхотливой лени

Мне нравится приманчивый закон;

Охота петь уж не владеет мною:

Она прошла, погасла, как любовь.

Опять любить, играть струнами вновь

желал бы я, но утомлен душою.

Иль жить нельзя отрадою иною?

С бездействием любезен мне союз;

лелеемый счастливым усыплением,

я не хочу притворным исступлением

Обманывать ни юных дев, ни муз.

1820, август

Прощай, отчизна непогоды
Прощай, отчизна непогоды,

Печальная страна,

Где, дочь любимая природы,

Безжизненна весна;

Где солнце нехотя сияет,

Где сосен вечный шум,

И моря рев, и всё питает

Безумье мрачных дум;

Где, отлученный от отчизны

враждебною судьбой,

Изнемогал без укоризны

Изгнанник молодой;

Где, позабыт молвой гремучей,

Но всё душой пиит,

Своею музою летучей

Теперь, для сладкого свиданья,
Спешу к стране родной;
В воображеньи край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шут угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою, житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил, питомец Феба,
Ни музам, ни себе.

1820, сентябрь

Я возвращуся к вам, поля моих отцов
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастья, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край, всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.

Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,

С улыбкой слушает, над бездною воссев,
и бури грозный свист, и волн мятежный рев,
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед, в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волнением учится, губя часы златые,
Науке измерять окопы боевые –
я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отеческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.

От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У берега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь серебрянный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

1820, сентябрь

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.
Похищенный искрой создание свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он пртезрел – и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.
Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.
Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.
Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..
Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,

Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал

Сгорает средь влаги прохладной,

Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,

Томимся мы жаждою счастья.

1820, декабрь

В альбом

Вы слишком многими любимы;

Чтобы возможно было вам

Знать, помнить всех по именам,

Сии листки необходимы;

Они не нужны были встарь:

Тогда не знали дружбы модной,

Тогда, Бог весть! иной дикарь

Сердечный адрес-календарь

Почел бы выдумкой негодной.

Что толковать о старине!

Стихи готовы. Может статься,

Они для справки обо мне

Вам очень скоро пригодятся.

1821, февраль

Приманкой ласковых речей
Приманкой ласковых речей

Вам не лишить меня рассудка!

Конечно, многих вы милей,

Но вас любить – плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,

Не слишком заняты вы мною,

Не нежность, прихоть вашу я

Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,

Но лишний пленник вам дороже,

Вам очень мил я, но, увы!

Вам и другие милы тоже.

Я состязаться не дерзаю
и превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

1821, февраль

Больной
Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
и болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.
Други! станьте вокруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.
Все прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
может быть, раздастся вой, –
и раздвинется могила,
и заснет, недвижимый, он,
и твое лобзанье, Лиля,
не прервет холодный сон.
Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим,
в память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.
Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? – вздохнуть,
на распутье, сжать мне руку
и сказать: счастливый путь!

1821, февраль

Когда б вы менее прекрасной
Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной

Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал цитерский бог, –
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участию
Мне тайный голос не велит..
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.

1821, февраль

Один, и пасмурный душою
Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.
Уж поздно было, ночь сгустилась,
Но сон бежал очей.
О днях минувших пробудилась
Тоска в душе моей.
«Увижу ль вас, поля родные,
Увижу ль вас, друзья?
Губя печально дни молодые,
Приметно вяну я!
Дни пролетают, годы тоже;
Меж тем бледнеет свет!
Давно ль покинул вас – и что же?
Двоих уж в мире нет!
И мне назначена могила!
Умру в чужой стране,
Умру, и ветреная Лила
Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилася тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился на руку главою,
В окно не зря глядел.
Очнулся я; румян и светел
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.

1821, март

Песня
Страшно воет, завывает
Ветр осенний;
По поднебесью далече
Тучи гонит.
На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.
О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?
Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!
«Не грусти! – душа-девица
Мне сказала. –
За тебя молиться будет
Друг твой верный».
Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Жить на что мне?

Дай приют, земля сырая,

Расступися!

Он поет, никто не слышит

Слов печальных...

Их разносит, заглушает

Ветер бурный.

1821, март

Нет, не бывать тому, что было прежде!
Нет, не бывать тому, что было прежде!

Что в счастье мне? Мертва душа моя!

«Надейся, друг!» – сказали мне друзья.

Не поздно ли вверяться мне надежде,

Когда желать почти не в силах я?

Я бременюсь нескромным их участием,

И с каждым днем я верой к ним бедней.

Что в пустоте несвязных их речей?

Давным-давно простился я со счастьем,

Желательным слепой душе моей!

Лишь вслед ему с унылым сладострастьем

Гляжу я в даль моих минувших дней.

Так нежный друг, в бесчувственном забвенье,

Еще глядит на зыби синих волн,

На влажный путь, где в темном отдаленье

Давно исчез отбывший дружный челн.

1821, май

Разуверение

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей:

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней!

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь

И не могу предаться вновь

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

1821, май

Чтоб очаровывать сердца
Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвести
Поэмой длинной, громкой одой,
И ввек того не приобрести,
Чего нам не дано природой.
Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды,
Вслед за толпой молодых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура-старика
Венком бессмертья увенчали.
Так своенравно Аполлон
Нам раздает свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!

Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет;
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.
Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу;
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

1821, май

Приятель строгий, ты не прав
Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые:
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалось, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили

Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно прѣзря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней молодых,
Меж тем летела наша младость;
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;
В душе, больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли,
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.
Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменили?

1821, июнь

Цветок
С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок.
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?
Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?

Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».
И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».
Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок».
Красою яркой день сияет, –
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает, –
У девушки цветок!
Идет. Услада повстречала,
Он прелестью цветок.
«Ты мил! – она ему сказала. –
Возьми же мой цветок!»
Он что же думе? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его – не диво:
Увянул твой цветок».

1821, август

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель
Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немym развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.
За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?
Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен

Как пышный саркофаг погибших поколений?
Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как признак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

1821, август

Когда неопытен я был
Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых;
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

1821, сентябрь

В своих стихах он скукой дышит
В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

1821, сентябрь

Неизвинительной ошибкой
Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?

Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитесь вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне примерно нежной став,
Вы наслажденья лишены ли
Дурачить пленников других
И гордой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще же нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить нетрудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог –
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.
1821, сентябрь – декабрь
Дало две доли Провидение
Дало две доли Провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение.
Иль безнадежность и покой.
Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком.
Надейтесь, юноши кипящие!
Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
И сердца пламенные сны!
Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,

Себе на тягостную часть!
Гоните прочь их рой прельстительный;
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.
Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов.
Так вы, согрев в душе желанья,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

1821, сентябрь – декабрь

О своенравная Аглая!
О своенравная Аглая!
От всей души я вас люблю,
Хотя другим не подражая,
Довольно редко вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Нам ни на сердце, ни на ум,
Где для глупца или невежды
Слов не размериваем мы,
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
И остроумью, и уму,
И удовольствию, и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И притеснительную моду,

Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры;
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры;
Они лукавы, я слышал,
И щекотливее другого
От упоения слепого
Спасти рассудок свой желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

1821

Я безрассуден – и не диво!
Я безрассуден – и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивую забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И пронизательность твоя
Хвалы достойна, верю я;

Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный

Шалуни ласковой моей,

Речей открытых склад небрежный,

Огонь ланит, огонь очей;

Я вспоминаю день разлуки,

Последний, долгий разговор;

И полный неги, полный муки

На мне покоившийся взор;

Я перечитываю строки.

Где, увлечения полна,

В любви счастливые уроки

Мне самому дает она,

И говорю в тоске глубокой:

«Ужель обманут я жестокой?

Или всё, всё в безумном сне

Безумно чудилось мне?

О, страшно мне разуверенье,

И об одном мольба моя:

Да вечным будет заблужденье,

Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной

Взываю я к судьбе глухой

И вскоре опыт роковой

Очам доставит свет ужасный,

Пойду я странником тогда

На край земли, туда, туда,

Где вечный холод обитает,

Где поневоле стынет кровь,

Где, может быть, сама любовь

В озяблом сердце потухает...

Иль нет: подумавши путем,

Останусь я в углу своем,

Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
я об обманщице тоскую.
Как здоровым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду Бог?»

1821, сентябрь – декабрь

Мне с упоением заметным
Мне с упоением заметным

Глаза поднять на вас беда:

Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
я полон страстную тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит Бог молодых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю, – пишет он, – итак,
я, несомненно, существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь, – я пойму
Скорее истину такую.

Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын, гласит преданье,
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес.
Неумолимый, Прометей
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но что ж? несчастного жалея,
Кто на Зевеса не роптал!
В огне волшебных ваших взоров
я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем дерзновение мое;
Но нет, утешьтесь, шутка водит
Моим проказливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.
1821, сентябрь – декабрь
Вчера ненастливая ночь
Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.
Но, в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
«Послушай, – молвила она, –
Вино советник самый здравый».
Я пил; на что ж решился я

Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

июнь 1821 – июль 1822 (?)

Моя жизнь
Люблю за дружеским столом
С моей семьей домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой.
Люблю пиров веселый шум
За полной чашей райской влаги,
Люблю забыть для сердца ум
В пылу вакхической отваги.
Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости молодой
Разнообразить наслажденья.

июнь 1821 – июль 1822

Элизийские поля
Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условие,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.
Простите, ветреные друзья,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б ни жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.

И там на шаловливой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.
О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.
Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени,
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.
Меж тем за тайными берегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть пир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса

Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

1821 (?) – 1824 (?)

Так, отставного шалуна
Так, отставного шалуна

Вы вновь шалить не убеждайте

Иль золотые времена

Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас

И с вами вместе наши нравы:

От всей души люблю я вас;

Но ваши чужды мне забавы.

Уж Вакх, увенчанный плющом,

Со мной по улицам не бродит

И к вашим нимфам вечерком

Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,

я пресыщен их буйным счастьем

И заменил его теперь

Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней младых

Неодолимы наши страсти:

Проказим мы, но мы у них,

Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой

Товарищ ваш блажил довольно;

Не видит он нужды большой

Вновь сумасбродить добровольно.

1821–1824 (?)

Дельвигу

Дай руку мне, товарищ добрый мой,

Путем одним пойдем до двери гроба,

Беду грозней пошлет судьбины злоба.

Ты помнишь ли, в какой печальный срок

Впервые ты узнал мой уголок?

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой

Боролся я, почти лишенный сил?

Я погибал – ты дух мой оживил

Надеждою возвышенной и новой.

Ты ввел меня в семейство добрых муз;

Деля досуг меж ими и тобою,

Я ль чувствовал ее свинцовый груз

И перед ней унизился душою?

Ты сам порой глубокую печаль

В душе носил, но что? не мне ли вверить

Спешил ее? и дружба не всегда ль

Хоть несколько могла ее умерить?

Забытые фортуною слепой,

Мы ей назло друг в друге всё имели

И, дружества твердя обет святой,

Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,

Упорствуя в старинной неприязни,

Душа моя не ведает боязни,

Души моей ничто не изменит!

Так, милый друг! позволят ли мне боги

Ярмо забот сложить когда-нибудь

И весело на светлый мир взглянуть,

По-прежнему ль ко мне пребудут строги,

Всегда я твой. Судьей души моей

Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,

Удвоишь ты моих счастливых дней

Неполное без разделенья счастье;

В дни бедствия я знаю, где найти

Участие в судьбе своей тяжелой;

Иду вперед с надеждою веселой.

Еще позволь желание одно

Мне произнестъ: молюся я судьбине,

Чтоб для тебя я стал хотя отныне,

Чем для меня ты стал уже давно.

1822, январь

Любви приметы
Любви приметы

я не забыл,

я ей служил

в былые леты!

в ней говорит

и жар ланит,

и вздох случайный...

О! я знаком

с сим языком

любви тайной!

в душе твоей

уж нет покоя;

давным-давно я

читаю в ней:

любви приметы

я не забыл,

я ей служил

в былые леты!

1822, январь – март

сей поцелуй, дарованный тобой
сей поцелуй, дарованный тобой,

преследует мое воображенье:

и в шуме дня, и в тишине ночной

я чувствую его напечатленье!

сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,

мне снишься ты, мне снится наслажденье;

обман исчез, нет счастья! и со мной

1822, январь – март

На кровы ближнего селенья
На кровы ближнего селенья

Нисходит вечер, день погас.

Покинет рощу, где для нас

Часы летели как мгновенья!

Лель, улыбнись, когда из ней

Случилось девице моей

Унести во взорах пламень томный,

Мечту любви в душе своей

И в волосах листок нескромный.

1822, январь

Зачем, о Делия!

Зачем, о Делия! сердца молодые ты

Игрой любви и сладострастья

Исполнить силишься мучительной мечты

Недосягаемого счастья?

Я видел вокруг тебя поклонников твоих,

Полуиссохших в страсти жадной:

Достигнув их любви, любовным клятвам их

Внимаешь ты с улыбкой хладной.

Обманывай слепцов и смейся их судьбе:

Теперь душа твоя в покое;

Придется некогда изведать и тебе

Очарованье роковое!

Не опасаяся насмешливых сетей,

Быть может, избранный тобою

Уже не вверится огню любви твоей,

Не тронется ее тоскою.

Когда ж пора придет и розы красоты,

Вседневно свежестью беднея,

Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,

К чему, бесчарная Цирцея?

Искусством округлишь ты высохшую грудь,

Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов молодых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпление,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волнение.

1822, март

Размолвка
Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

1822, март

На звук цевницы голосистой
На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.
Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.
Над урной мшистою наяда
Проснулась в сумраке ветвей,

И, разломав оковы хлада,

Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!

Звучат и блещут небеса;

Певцов пернатых голоса,

Пастушьи песни огласили

Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,

Лишь ты, в печаль облечена,

Весны не празднуешь одна!

Тобою младости измена

Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,

Не видишь ты красы лугов.

О, если б щедростью богов

Могла ко смертным возвратиться

Пора любви с порой цветов!

1822, апрель

Сестре

И ты покинула семейный мирный круг!

Ни степи, ни леса тебя не задержали;

И ты летишь ко мне на глас моей печали –

О милая сестра, о мой вернейший друг!

Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель,

Наперсница души от колыбельных дней;

Не тщетно нежности я веровал твоей,

Тогда еще, тогда достойный твой ценитель!..

Приди ж – и радость призови

В приют мой, радостью забытый,

Повея отрадою душе моей убитой

И сердце мне согрей дыханием любви!

Как чистая роса живет своей прохладой

Среди нагих степей – спасительной усладой

Так оживишь мне чувства ты.

1822, июнь – июль

Младые грации сплели тебе венок
Младые грации сплели тебе венок

И им стыдливую невинность увенчали.

В него вплести и мне нельзя ли

На память миртовый листок?

Хранимый дружбою, он, верно, не увянет,

Он лучших чувств моих залогом будет ей;

Но друга верного и были прежних дней

Да поздно милая вспомянет.

Да поздно юных снов утратит легкий рой

И скажет в тихий час случайного раздумья:

«Не другом красоты, не другом остроумья –

Он другом был меня самой».

1823

Падение листьев

Желтел печально злак полей,

Брега взрывал источник мутный,

И голосистый соловей

Умолкнул в роще бесприютной.

На преждевременный конец

Суровым роком обреченный,

Прощался так молодой певец

С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,

Прости, убежище драгое!

О прорицанье роковое!

Твой страшный голос помню я:

“Готовься, юноша несчастный!

Во мраке осени ненастной

Глубокий мрак тебе грозит,

Уж он зияет из Эрева,

Последний лист падет со древа,

Твой час последний прозвучит!”

И вяну я: лучи дневные

Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые
Минутной юности моей!
Покину все, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблекший лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой.
Вались, вались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропюю,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя,
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»
Сбылось! увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто мать приходила..
Не приходила дева к ней!
1823, март
Лета
Душ холодных упованье,
Неприяженный ручей,
Чье докучное журчанье

Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

1823, май

Г<неди>чу
Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов;
Возвышенную цель поэт избрать обязан.
К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напивая строки,
Сатирию восстать на глупость и пороки?
Мирлюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.
Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовью к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То, укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;

Он нравов опекун и вместе правды воин.
Все так; но кто владеть пером его достоин!
Острот затейливых, насмешек едких дар,
язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки –
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я утрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и Божий гнев в заботу не приводит.
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.
Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных возвышенный поэт.
Но рвению моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привести,
я благодарность их мечтал бы приобрести,
Но, право, смысла нет во слове «благодарность»,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От века сих вельмож оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспаривать царя;
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,

из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? – «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопчет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигом людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унижить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клеветает!

.
.

Нет, нет! разумный муж идет путем иным
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонаравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единой
Осине: дубом будь, иль дубу – будь осиною;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

1823

Желанье счастья в меня вдохнули боги
Желанье счастья в меня вдохнули боги:
я требовал его от неба и Земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливым отдыхом, на счастье похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.

Притворной нежности не требуй от меня
Притворной нежности не требуй от меня:
я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты прав, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
я клятвы дал, но дал их выше сил.
я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.
Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной.
Кто знает? мнением сольюся я с толпою;
Подругу без любви – кто знает? – изберу я.
На брак обдуманый я руку ей подам.
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим сном,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

1823

Н.И. Гнедичу
Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристипп,
И дружбу нежную, и русские Афины!
Не Ваковых пиров, не лобызаний фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой, –
Лишенье тяжко мне в краю, где финну нишу
Отчизна мертвая едва дарует пищу.
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердце и уму я пищу находил.
Счастливец! дни свои ты музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства пылкие и благодарный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют –
Живитель сердца труд; искусства наслажденья.
Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей стало мукой;

Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастием обязаны мы им.
Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечасно погружен
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.
Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.
Я победил ее и не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины,
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,

Мне душу радует восторгами своими;
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободнее, и лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.
Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,
Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью;
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушиваюсь я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовьюю моей.
Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых
Не заменяют мне людей, для сердца милых,
И часто, грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,

С тобой желал бы я беседовать опять.
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам, –
Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

1823, ноябрь

Лутковскому
Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой –
Никак, веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в веселье диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой с победным кликом
Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их;
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.

Ты сна не знаешь; чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой, на вражий стан
С дружиной быстрою нагринул:
Врагам иль смерть, иль строгий плен!

Меж тем красавицы молодые
Пришли толпой, с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:

Да возвратился невредим
Любезный воин с лютой битвы!

О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!

Но ты не раз увенчан был
и бранной славой, и любовью.

Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя

и заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

1823, декабрь

О счастья с младенчества тоскуя
О счастья с младенчества тоскуя,

всё счастьем беден я,

или вовек его не обрету я

в пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,

не узнаю я свет;

Надежд своих лишен я прежней цели,

А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья –

Мне тайный голос рек;

и лучшие мечты моей созданья

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?
Так некогда обдумывал с роптаньем
я тяжкий жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.
«Светильник мой укажет путь ко счастью! –
Вещала. – Захочу
и, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.
Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный, разлюбишь
и ближних и друзей.
я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
я оболую суровым хладом душу,
Но дам душе покой».
я трепетал, словам ее внимая,
и горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостья неземная!
Печален твой привет.
Светильник твой – светильник погребальный
Последних благ моих!
Твой мир, увы! могилы мир печальный,
и страшен для живых.
Нет, я не твой! в твоей науке строгой
я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.
Прости! иль нет: когда мое светило

Начнет бледнеть и всё, что сердцу мило,
Забыть придется мне,
Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».

1823, декабрь

Взгляни на звезды: много звезд
Взгляни на звезды: много звезд

В безмолвии ночном

Горит, блестит кругом луны

На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них

Милее всех одна!

За что же? Ранее встает,

ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее

Расставшихся друзей:

Их взоры, в синей вышине,

Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,

Но с думою глядит,

Но взору шлет ответный взор

И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь

Не сводим мы очес,

И провожаем мы ее

На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?

В безмолвии ночном

Их много блещет и горит

На небе голубом.

Не первый вставшей сердце вверх

и, суетный в любви,

Не лучезарнейшую всех

Своею назови.

Ту назови своей звездой,

Что с думою глядит,

И взору шлет ответный взор,

И нежностью горит.

1824, май

Богдановичу

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,

Где благоденствуют отжившие поэты,

О Душенькин поэт, прими мои стихи!

Никак в писатели попал я за грехи

И, надоев живым посланьями своими,

Несчастливым мертвецам скучать решаюсь ими.

Нет нужды до того! хочу в досужий час

С тобой поговорить про русский наш Парнас,

С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,

Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,

Чертам заметнейшим лукавой остроты

Дающий милый вид сердечной простоты

И часто, наготу рисуя нам бесчинно,

Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,

Веселость ясная в стихах твоих видна;

Мечты игривые тобою были петы.

В печаль влюбились мы. Новейшие поэты

Не улыбаются в творениях своих,

И на лице земли все как-то не по ним.

Ну что ж? поклон да вон! увы, не в этом дело;

Ни жить им, ни писать еще не надоело,

И правду без затей сказать тебе пора:

Пристала к музам их немецких муз хандра.

Жуковский виноват; он первый между нами

Вошел в содружество с германскими певцами

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
И стал передавать, забывши Божий страх,

Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему Господь! – Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделось чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
Как терпит публика безумие такое? –
Ты спросишь. Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.
Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто «Душеньку» твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Воспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградили
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы «Душеньки» читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.
Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведовать бы мог Парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его

Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логики смысленый приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого – глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.
Как быть писателю? В пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!
Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут поделить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!
А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.

Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зреее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца.

1824, июль

Очарованье красоты
Очарованье красоты

В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь на край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.

1824, июль

Леда
В стране роскошной, благодатной,
Где Европейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль берега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень; небо знойно;
Кругом все пусто, все спокойно;
Река прохладна и светла;
Берега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,

Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей;
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываясь от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Все ближе к милой каждый раз.
И вот плывет он рядом с нею.
Ей смелость лебеда мила,
Рукою нежною своею
Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жметя к деве, он украдкой
Ей перси ножные клюет;
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко берегу.
Выходит на берег она;
Устав, в тени густого древа,
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстный:
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно воздыхает,
Он влажным клевом вопрошает
Уста невинные ее...

Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже отвечает язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Набросив пышные волосы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы..
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;
Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;
Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел –
Затрепетал крылами он, –
И вырывается у Леды
И девства крик, и неги стон.
1824, ноябрь

Завыла буря; хлябь морская
Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пенясь, в прибрежные скалы.
Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмудив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной разлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил

Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслони́л огромными крылами
И двигает реву́щими водами,
Бунтующим могуществом своим.
Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре молодого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!
Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

1824, ноябрь

Рука с рукой Веселье, Горе
Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? поспорились вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «Прости!»,

Чрез день сошлись – в конце пути!

1824, ноябрь

Как много ты в немного дней
Как много ты в немного дней

Прожить, прочувствовать успела!

В мятежном пламени страстей

Как страшно ты перегорела!

Раба томительной мечты!

В тоске душевной пустоты,

Чего еще душою хочешь?

Как Магдалина, плачешь ты,

И, как русалка, ты хохочешь!

1824

Отчизны враг, слуга царя
Отчизны враг, слуга царя,

К бичу народов – самовластью

Какой-то адскою любовью горя,

Он незнаком с другою страстью.

Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,

Чтобы злодействовать свободней.

Не нужно имени: у всех оно в устах,

Как имя страшное владыки преисподней.

1824

Взгляни на лик холодный сей
Взгляни на лик холодный сей,

Взгляни: в нем жизни нет;

Но как на нем былых страстей

Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,

Над бездною висит,

Утратив прежний грозный рев,

Храня движенья вид.

1824

Решительно печальных строк моих
Решительно печальных строк моих

Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
и презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других..
Так! но, когда их слух предубежденный
я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаясь душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; – так! в памяти моей
уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовь пылал?
Нет, милая! когда в уединенье
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображенье,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости молодой,
Из-за угла пафосских пилигримок
я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
я только был шалун, а не изменник.

Ты все еще обид своих полна...

Прости ж навек! но знай, что дух виновных,

Не одного, найдутся имена

В стихах моих, в преданиях любовных.

1824

Череп

Усопший брат! кто сон твой возмутил?

Кто пренебрег святынею могильной?

В разрытый дом к тебе я нисходил,

я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;

я зрел на нем ход постепенный тленья.

Ужасный вид! как сильно поражен

им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых

Над ямою безумно хохотала;

когда б тогда, когда б в руках моих

Глава твоя внезапно провещала!

когда б она цветущим, пылким нам

и каждый час грозимым смертным часом

Все истины, известные гробам,

Произнесла своим бесстрастным гласом!

что говорю? Стократно благ закон,

Молчаньем ей уста запечатлевший;

Обычай прав, усопших важный сон

нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!

Всесильного ничтожное создание,

О человек! уверься наконец,

не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

нам надобны и страсти и мечты,

в них бытия условие и пища:

не подчинишь одним законам ты

и света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

1824, декабрь

Мы пьем в любви отраву сладкую
Мы пьем в любви отраву сладкую,

Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.

Огонь любви, огонь живительный!

Все говорят: но что мы зрим?

Опустошает, разрушительный,

Он душу, объятую им!

Кто заглушит воспоминания

О днях блаженства и страдания,

О чудных днях твоих, любовь?

Тогда я ожил бы для радости,

Для снов золотых цветущей младости

Тебе открыл бы душу вновь.

1824–1825

Авроре Ш<ернваль>

Выдь, дохни нам упоеньем,

Соименница зари;

Всех румяным появленьем

Оживи и озари!

Пылкий юноша не сводит

Взоров с милой и порой

Мыслит с тихую тоской:

«Для кого она выводит

Солнце счастья за собой?»

1824–1825

Когда взойдет денница золотая
Когда взойдет денница золотая,

Горит эфир,

Цветущий мир,
И славит всё существованья сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?
Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?
Страдаю я! Из-за дубравы дальней
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.
Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
В душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.
1824–1825 (?)
Эпиграмма
И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,

Его стихи – выходят в свет.

1824–1825 (?)

Идиллик новый на искус
Идиллик новый на искус

Представлен был пред Аполлона.

«Как пишет он? – спросил у муз

Бег беспристрастный Геликона. –

Никак, негодный он поэт?» –

«Нельзя сказать». – «С талантом?» – «Нет:

Ошибок важных, правда, мало;

Да пишет он довольно вяло». –

«Я понял вас; в суде моем

Не озабочусь я нисколько;

Вперед ни слова мне о нем.

Из списков выключить – и только».

1824–1825 (?)

Войной журнальной бесчестит без причины
Войной журнальной бесчестит без причины

Он дарования свои.

Не так ли славный вождь и друг Екатерины –

Орлов – еще любил кулачные бои?

1825, март

В глуши лесов счастлив один
В глуши лесов счастлив один,

Другой страдает на престоле;

На высоте земных судьбин

И в незаметной, низкой доле

Всех благ возможных тот достиг,

Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,

Но все блаженствуем различно;

Уделом нашим решено,

Как наслаждаться им прилично,

И кто нам лучший дал совет,

Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.
Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдались отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

1825, март

К Д<ельвигу> На другой день после его женитьбы
Ты распрощался с братством шумным

Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным.

Благовоспитанный, степенный Гименей
Пристойно заменил проказника Амура,
И ветреных подруг, и ветреных друзей,
И сластолюбца Эпикура.

Теперь для двух коварных глаз
Воздержным будешь ты, смешным и постоянным;
Спасайся, милый!.. Но, подчас,
Не позавидуй окаянному!

1825

В дорогу жизни снаряжая
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые

1825

В борьбе с тяжелою судьбой
В борьбе с тяжелою судьбой

Я только пел мои печали:

Стихи холодные дышали

Души холодною тоской;

Когда б тогда вы мне предстали,

Быть может, грустный мой удел

Вы облегчили б. Нет! едва ли!

Но я бы пламеннее пел.

1825

Д. Давыдову

Пока с восторгом я внимаю

Повествованью славных дел,

Ношу любовь к родному краю

И к песням муз не охладел,

Покуда русский я душою,

Забуду ль о счастливом дне,

Когда приятельскою рукою

Пожал Давыдов руку мне!

О ты, который в дым сражений

Полки лихие бурно мчал

И гласом пылких песнопений

Сердца томил и волновал!

Так, так! покуда сердце живо

И трепетать ему не лень,

В воспоминанье горделиво

Хранить я буду оный день!

Клянусь, Давыдов благородный,

В том лирой, Фебу дорогой,

Твоею лирой боевой

И в славный год войны народной

В народе славной бородой!

1825

Она придет!
Она придет! к ее устам

Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастью вредим
И сокращаем наслажденье.

1825, ноябрь

Простите, спору не попад
Простите, спору не попад
я с вашей музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат,
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, на спору в том,
Был вместе с вами мой учитель.

1825

В своих листах душонкой ты кривишь
В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья,
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод.
«Срамец! срамец! – все шепчут, – вот известье!» –
«Эх, не тужи! Уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье».

1826, январь

Не трогайте Парнасского пера
Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.

Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
уносят их летийские струи –
На пальчиках чернила остаются.

1826, январь

Поверь, мой милый!
Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты.
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно печалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспаривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

1826, февраль

Есть грот: наяда там в полдневные часы
Есть грот: наяда там в полдневные часы

Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняясь челом, венчанным осокой.

1826, декабрь

Ты ропщешь, важный журналист
Ты ропщешь, важный журналист,

На наше модное маранье:

«Всё та же песня: ветра свист,

Листов древесных увяданье...»

Понятно нам твое страданье:

И без того освистан ты,

И так, подвалов достоянье,

Родясь, гниют твои листы.

1826, декабрь

Окогченная летунья
Окогченная летунья,

Эпиграмма-хохотунья,

Эпиграмма-егоза

Трется, вьется средь народа,

И завидит лишь урода –

Разом вцепится в глаза.

<1827>

Не бойся едких осуждений
Не бойся едких осуждений,

Но упоительных похвал:

Не раз в чаду их мощный гений

Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,

Уже готов у моды ты

Взять на венок своей Камене

Ее тафтяные цветы;

Прости, я громко негодую;

Прости, наставник и пророк,
я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.
Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

1827, февраль

Перелетай к веселью от веселья
Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.
Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят.
Когда она не мыслит ни о чем.

1827, февраль

Эпиграмма
Свои стишки Тощев-пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, непутем
На голос лебедя мяучит.

1827, март

Как сладить с глупостью глупца?
Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит;
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

Она
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами – с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластной
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты – и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.
Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой –
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.

1827, май

Судьбой наложенные цепи
Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.
Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.
Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще –
Приют младенческих годов.
Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..
Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.
Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.
Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.
Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.
Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.
1827, июль – август
Последняя смерть
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятия своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:

как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.
Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуясь, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.
Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Все на земле движением дышало,
Все на земле как будто ликовало.
Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,

и в бездне вод, сраженный человеком,
и царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещение!
Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
что человек? что вновь открыто им?
я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольних благ,
На все они спокойные взирали,
что суеты рождало в их отцах,
что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.
Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
и в полное владение свое
фантазия взяла их бытие,
и умственной природе уступила
Телесная природа между них:
их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крыльях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
и браки их бесплодны пребывали.
Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.

Где люди? где? скрывались в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглухнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось из гладное бляенье.
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синяя, вился
И жертвою очистительной дымился.

1827

Прости, мой милый!
Прости, мой милый! так создать

Меня умела власть Господня:

Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

1827

Нет, обманула вас молва
Нет, обманула вас молва,

По-прежнему дышу я вами,

И надо мной свои права

Вы не утратили с годами.

Другим курил я фимиам,

Но вас носил в святыне сердца;

Молился новым образам,

Но с беспокойством староверца.

1828

Сердечным нежным языком
Сердечным нежным языком

Я искушал ее сначала;

Она словам моим внимала

С тупым, бессмысленным лицом.

В ней разбудить огонь желаний

Еще надежду я хранил

И сладострастных осязаний

язык живой употребил...

Она глядела так же тупо,

Потом разгневалась глупо.

Беги за нею, модный свет.

Пленяйся девой идеальной, –

Владею тайной я печальной:

Ни сердца в ней, ни пола нет.

1828, декабрь

Из А. Шенье

Под бурю судеб, унылый, часто я,

Скучая тягостной неволей бытия,

Нести ярмо мое утрачивая силу,

Гляжу с отрадою на близкую могилу,

Приветствую ее, покой ее люблю,

И цепи отряхнуть я сам себя молю.

Но вскоре мнимая решимость позабыта,

И томной слабости душа моя открыта:

Страшна могила мне; и ближние, друзья,

Мое грядущее, и молодость моя,

И обещания в груди сокрытой музы –

Все обольстительно скрепляет жизни узы,

И далеко ищу, как жребий мой ни строг,

я жить и бедствовать услужливый предлог.

1828

Люблю деревню я и лето

И говор вод, и тень дубров,
и благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь – пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

1828

Старик
Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век молодой;
я был счастливый пустомеля
и девам нравился порой.
я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня..
Но пролетели дни молодые;
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
в укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
и соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетенный Лелем,
не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
еще прекрасные года.

1828

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
какой-нибудь да пакостью обозначишь
ты каждый день без цели, без нужды!
ты сам себя, и прост и подел вкупе.
Эпитимьей затейливой казнишь:

И только что лицо свое пылишь.

1828, октябрь

Мой дар убог, и голос мой не громок
Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земли мое

Кому-нибудь любезно бытие:

Его найдет далекий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашел я друга в поколенье,

Читателя найду в потомстве я.

1828, октябрь

Глупцы не чужды вдохновенья
Глупцы не чужды вдохновенья;

Им так же пылкие мгновенья

Оно, как гениям, дарит:

Слетая с неба, все растенья

Равно весна животворит.

Что ж это сходство знаменует?

Что им глупец приобретет?

Его капустою раздует,

А лавром он не расцветет.

1828, октябрь

Старательно мы наблюдаем свет
Старательно мы наблюдаем свет,

Старательно людей мы наблюдаем

И чудеса постигнуть уповаем:

Какой же плод науки долгих лет?

Что наконец подсмотрят очи зорки?

Что наконец поймет надменный ум

На высоте всех опытов и дум,

Что? точный смысл народной поговорки.

1828

Не подражай: своеобразен гений
Не подражай: своеобразен гений

Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

1828

Порою ласковую фею
Порою ласковую фею
Я вижу в обаянье сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобномышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотолу
Наш бедный ум поработен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

1828

Тебя из тьмы не изведу я
Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косою.

Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса,
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое хранение Всемогущий
Его устройство поручил.
И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смиря буйство бытия.
Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять поворачиваешь океан.
Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл безмерный лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.
А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоуменье, принуждение –
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.
1828, ноябрь

Слышал я, добрые друзья
Слышал я, добрые друзья,

Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали;
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шепот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке –
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здоровьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспышет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой из-за угла
Гляжу на свет и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
я слабым сердцем возмущен;
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он;
Или, в мгновение зеницы,

Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

1828

При посылке «Бала» С. Энгельгардт
Тебе ль, невинной и спокойной,
я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?
и безобразный и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
На что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.
Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
Он путешественника-друга
Пустыни дальней дикий цвет.

1828

По замечанью моему
По замечанью моему,
Альбом походит на кладбище:
и не подобно ли ему
Он всем открытое жилище?
Не так же ль множеством имен
Самолюбиво испещрен?
Увы! народ добросердечный
Равно туда или сюда
Несет надежду жизни вечной
и трепет Страшного суда.

Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся;
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю:
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

1829

К<нягине> З.А. Волконской
Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь – какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон –
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для Капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,

что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

1829, январь

Хвала, маститый наш Зоил!
Хвала, маститый наш Зоил!

Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили:
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.

1829, март

Эпиграмма

Поверьте мне, Фиглярин-моралист

Нам говорит преумилненным слогом:

«Не должно красть: кто на руку нечист,

Перед людьми грешит и перед Богом;

Не надобно в суде кривить душой,

Нехорошо живиться клеветой,

Временщику подслуживаться низко;

честь, братцы, честь дороже нам всего!»

Ну что ж? Бог с ним! все это к правде близко,

А кажется, и ново для него.

Что пользы нам от шумных ваших прений?
Что пользы нам от шумных ваших прений?

Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли, почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

1829

К.А. Свербеевой
В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.
Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

1829

Не ослеплен я музою моею
Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.

Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

1829, ноябрь

Когда печалью вдохновенный
Когда печалью вдохновенный

Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженья их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,

Подобна нищей развращенной,

Молящей лепты незаконной

С чужим ребенком на руках.

1829, ноябрь

Отрывок

Он

Под этой липою густою

Со мною сядь, мой милый друг;

Смотри, как живо все вокруг!

Какой зеленой пеленою

К реке нисходит этот луг!

Какая свежая дуброва

Глядится с берега другого

В ее веселое стекло!

Как небо чисто и светло!

Все в тишине; едва смущает

Живую сень и чуткий ток

Благоуханный ветерок:

Он сердцу счастье навевает!

Молчишь ты?

Она

О любезный мой!

Всегда я счастлива с тобой

И каждый миг равно ласкаю.

Он

Я с умиленною душой

Красу творенья созерцаю.

От этих вод, лесов и гор

Я на эфирную обитель,

На небеса подъемлю взор

И думаю: велик Зиждитель,

Прекрасен мир! Когда же я

Вспомню тою же порою,

Что в этом мире ты со мною,

Подруга милая моя...

Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

Она

Воздай тебе Создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Он

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренья
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет Божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю..
А завтра... Завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь:
я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве несмущаем
Такою думой?

Она

Что с тобой?

Зачем твое воображенья

Предупреждает Провиденье?

Бог милосерд, друг милый мой!

Здоровы, молоды мы оба,

Еще далёко нам до гроба.

Он

Но все ж умрем мы наконец,

Все ляжем в землю.

Что же, милый?

Есть бытие и за могилой,

Нам обещал его Творец.

Спокойны будем: нет сомненья,

Мы в жизнь другую перейдем,

Где нам не будет разлученья,

Где все земные опасенья С земною пылью отряхнем.

Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, всемогущий без нее

Нас искушал бы выше меры;

Так, есть другое бытие!

Ужели некогда погубит

Во мне Он то, что мыслит, любит,

Чем Он созданье довершил,

В чем, с горделивым наслажденьем,

Мир повторил Он отраженьем

И сам себя изобразил?

Ужели творческая сила

Лукавым светом бытия

Мне ужас гроба озарила,

И только?.. Нет, не верю я.

Что свет являет? Пир нестройный!

Презренный властвует; достойный

Поник гонимую главой;

Несчастлив добрый, счастлив злой.

Как! не терпящая смешенья

В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих.
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья;
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

Она

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость высшего Творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

1829, ноябрь

Чудный град порой сольется
Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветер его коснется,
Он исчезнет без следов.
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты

Посторонней суеты.

1829, декабрь

Эпиграмма

В восторженном невежестве своем

На свой аршин он славу нашу мерит;

Но позабыл, что нет клейма на нем,

Что одному задору свет не верит.

Как дружеским он вздором восхищен!

Как бешено своим доволен он!

Он хвалится горячею душою.

Голубчик мой! уверься наконец,

Что из глупцов, известных под луною,

Смешнее всех нам пламенный глупец.

1829, декабрь

Своенравное прозвание

Своенравное прозвание

Дал я милой в ласку ей:

Безотчетное созданье

Детской нежности моей;

Чуждо явного значенья,

Для меня оно символ

Чувств, которых выраженья

В языках я не нашел.

Вспыхнув полное любовью

И любви посвящено,

Не хочу, чтоб суесловью

Было ведомо оно.

Что в нем свету? Но сомненье

Если дух ей возмутит,

О, его в одно мгновенье

Это имя победит;

Но в том мире, за могилой,

Где нет образов, где нет

Для узнанья, друг мой милый,

Им бессмертье я привечу,

Им в тебе воскликну я,

И душе моей навстречу

Полетит душа твоя.

1829–1832 (?)

Эпиграмма

«Он вам знаком. Скажите, кстати,

Зачем он так не терпит знати?» –

«Затем, что он не дворянин». –

«Ага! нет действий без причин.

Но почему чужая слава

Его так бесит?» – «Потому,

Что славы хочется ему,

А на нее Бог не дал права,

Что не хвалил его никто,

Что плоский автор он». – «Вот что!»

1830

Эпиграмма

Писачка в Фебов двор явился.

«Довольно глуп он! – Бог шепнул. –

Но самоучкой он учился, –

Пускай присядет, дайте стул».

И сел он чванно. Нектар носят,

Его, как прочих, кушать просят;

И нахлебался тотчас он,

И загорланил. Но раздался

Тут Фебов голос: «Как! зазнался?

Эй, надоумко, выведь вон!»

1830, июль

Хотя ты малый молодой
Хотя ты малый молодой,

Но пожилую мудрость кажешь:

Ты слова лишнего не скажешь

В беседе самой распашной;

Приязни глупой с первым встречным

Ты сгоряча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.

1830

С.Л. Энгельгардт
Нежданное родство с тобой даруя,
О, как судьба была ко мне добра!
Какой сестре тебя уподоблю я,
Ее рукой мне данная сестра!
Казалось, любовь в своем пристрастье
Мне счастье дала до полноты;
Умножила ты дружбой это счастье,
Его могла умножить только ты.

1830–1832 (?)

Люблю я красавицу
Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовью томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее

Небесному знамению?

Страшна мне, друзья мои,

Краса черноокая;

За темной завесою

Душа ее кроется,

Любовник пылает к ней

Любовью тревожною

И взорам двусмысленным

Не смеет довериться.

Какой-то недобрый дух

Качал колыбель ее;

Оделася тьмой она,

Вспылала причудою,

Закралось в сердце к ней

Лукавство лукавого.

1831, январь

Не славь, обманутый Орфей
Не славь, обманутый Орфей,

Мне Элизийские селенья:

Элизий в памяти моей

И не кропим водой забвенья.

В нем мир цветущий старины

Умерших тени населяют,

Привычки жизни сохраняют

И чувства ее не лишены.

Там жив ты, Дельвиг! там за чащей

Еще со мною шутишь ты,

Поешь веселье дружбы нашей

И сердца юные мечты.

1831, сентябрь

Бывало, отрок, звонким кликом
Бывало, отрок, звонким кликом

Лесное эхо я будил,

И верный отклик в лесе диком

Меня смятенно веселил.

Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, играя золотая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов –
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

1831, сентябрь

В дни безграничных увлечений
В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистают стройной красотой.
Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласие захотел.

1831, сентябрь

Где сладкий шепот
Где сладкий шепот

Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и доли.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Всё цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушует, воеет
И небо кроет
Седую мглой.
Зачем, тоскуя,
Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой
И забываю
Я бури вой.
О Провиденье,

Благодаренье!

Забуду я

И дуновенье

Бурь бытия.

Скорбя душою,

В тоске моей,

Склонюсь главою

На сердце к ней,

И под мятежной

Метелью бед,

Любовью нежной

Ее согрет;

Забуду вскоре

Крутое горе,

Как в этот миг

Забыл природы

Гробовый лик

И непогоды

Мятежный крик.

1831, сентябрь

Н.М. Языкову

Языков, буйства молодого

Певец роскошный и лихой!

По воле случая слепого

я познакомился с тобой

В те осмотрительные лета,

Когда смиренная диета

Нужна здоровью моему,

Когда и тошный опыт света

Меня наставил кой-чему,

Когда, от бурных увлечений

Желанным отдыхом дыша,

Для благочинных размышлений

Созрела томная душа;

Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастья поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.

1831, ноябрь

Храни свое неопасенье
Храни свое неопасенье,
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной,
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть, для тебя преобразуем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцвела ты.

1831–1832

Мой неискусный карандаш
Мой неискусный карандаш

Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил,
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

1831–1832 (?)

«Дитя мое, – она сказала»
«Дитя мое, – она сказала, –
Возьмешь иль нет мое кольцо? –
И головою покачала,
С участием глядя ей в лицо. –
Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое,
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.
Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.
Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.
Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.
Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо».
Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.
Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелой
Всезабывающей любви.
И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

1831–1832 (?)

К чему невольнику мечтания свободы?
К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных берегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветер не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим –

Безумец! не она ль, не вышня ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

1831–1832 (?)

Когда исчезнет омраченье
Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?
Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Грбовой насыпью легла.

1831–1832 (?)

Болящий дух врачует песнопенье
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

1831–1832 (?)

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне
О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье;
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

1831–1832 (?)

О мысль! тебе удел цветка
О мысль! тебе удел цветка:
Он, свежий, манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек –
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

1831–1832 (?)

Есть милая страна, есть угол на земле
Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,
Всегда уносимся мы думою своей,

Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

.
.
.
.
.
.
.
.

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых;
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,

Сухая скорбь разуверенья.

1831–1832 (?)

Весна, весна! как воздух чист!
Весна, весна! как воздух чист!

Как ясен небосклон!

Своей лазурию живой

Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко

На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,

Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!

Взревев, река несет

На торжествующем хребте

Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,

Но в роще ветхий лист,

Как прежде, под моей ногой

И шумен и душист.

Под солнце самое взвился

И в яркой вышине

Незримый жавронок поет

Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?

С ручьем она ручей

И с птичкой птичка! с ним журчит,

Летает в небе с ней!

Зачем так радуется

И солнце и весна!

Ликует ли, как дочь стихий,

На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем

Забвенья мысли пьет,

Кого далёко от нее

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Он, дивный, унесет!

1831–1832 (?)

Языкову

Бывало, свет позабывая

С тобою, счастливым певцом,

Твоя Камена молодая

Венчалась гроздьем и плющом

И песни ветреные пела,

И к ней, безумна и слепа,

То, увлекаясь, пламенела

Любовью грубою толпа,

То, на свободные напевы

Сердяся в ханжестве тупом,

Она ругалась чудной девы

Ей непонятным божеством.

Во взорах пламень вдохновенья,

Огонь восторга на щеках,

Был жар хмельной в ее глазах

Или румянец вождельенья...

Она высоко рождена,

Ей много славы подобает:

Лишь для любовника она

Наряд менады надевает;

Яви ж, яви ее скорей,

Певец, в достойном блеске миру:

Наперснице души твоей

Дай диадиму и порфиру;

Державный сан ее открой,

Да изумит своей красой,

Да величавый взор смущает

Ее злословного судью,

Да в ней хулитель твой познает

Мою царицу и свою.

1832, январь

Мадона

(Не зрелось жилья на полмили кругом)
Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.
С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.
И дочка порою душой унывала;
Терпением скудея, на Бога роптала.
«Не плачь, не крушися ты, солнце мое! –
Тогда утешала старушка ее. –
Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.
Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!»
Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,
И с теплою верою в сердце простом
Она с умиленным и кротким лицом
На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.
Но больше и больше нужда их теснит,
Дочь плачет, старушка свое говорит.
С утра по руинам бродил любопытный!
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.
Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке и входит он к ней.
На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрынул, картиною вдруг пораженный:
«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!
И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!
Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

Продать не могу я икону святую».

«Я двести даю, согласися продать». –

«Синьор, синьор! бедность грешно искушать».

Упрямства не мог победить он в старушке:

Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей

Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,

И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет

И с дочкой своею безбедно живет.

Прекрасно и чудно, о вера живая!

Тебя оправдала Мадона святая.

1832, январь

Кто непремный мой ругатель?
Кто непремный мой ругатель?

Необходимый мой предатель?

Завистник непремный мой?

Тут думать нечего: – родной!

Нам чаще друга враг полезен, –

Подлунный мир устроен так;

О, как же дорог, как любезен

Самой природой данный враг!

1832

На смерть Гёте
Предстала, и старец великий смежил

Орлиные очи в покое;

Почил безмятежно, зане совершил

В пределе земном все земное!

Над дивной могилой не плачь, не жалеи,

Что гения череп – наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им

Под солнцем живых без привета;

На все отозвался он сердцем своим,

Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Всё дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.

Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал;

Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведен, испытан им весь человек!

И ежели жизнью земною

Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,

За миром явлений, не ждет ничего:

Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,

Он, здешний вполне отдышавший

И в звучных, глубоких отзывах сполна

Всё дольное долу отдавший,

К предвечному легкой душой возлетит,

И в небе земное его не смутит.

1832, апрель – май

Не растравляй моей души
Не растравляй моей души

Воспоминанием былого;

Уж я привык грустить в тиши,

Не знаю чувства я другого.

Во цвете самых пылких лет

Всё испытать душа успела,

И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

1832

Н.Е.Б..
Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепенется,
Кто на красавицу очей ни возведет:
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.

1832

Наслаждайтесь: всё проходит!
Наслаждайтесь: всё проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.
Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

1831–1833 (?)

Я не любил ее, я знал
Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа;

Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умилением
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей,
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с ослабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним;
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

1832–1833 (?)

К.А. Тимашевой
Вам всё дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль – души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль, на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

1832–1833 (?)

Я посетил тебя, пленительная сень
Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
Когда ты веешь ароматом
Тобой бережно взлелеянных цветов, –
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней нагоде стояли деревья
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуясь, шумели;
С прохладой резко дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы! рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады;
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишённые хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травой,
Приют хозяйственный в нем улья обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною,

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!

Но вот по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубину нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем,
И угрожает уж паденьем,
Бывало, в летний зной, прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Он не был мыслию, он не был сердцем хладен,
Тот, кто, глубокой неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к мечтательному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую бессмертную весну,
Где разрушения следов я не примечу,

У нескудеющих ручьев,
я тень, священную мне, встречу.

1833

Вот верный список впечатлений
Вот верный список впечатлений
и легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его – не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный –
Все, что вторим мы под луной.
я много строк моих, о Лета!
в тебе желал бы окунуть
и утаить их как-нибудь
и от себя и ото света...
но уже свое они рекли,
а что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
и мне перо оставить можно.
теперь я знаю бытие.
одно желание мое –
покой, домашние отрады.
и, погружен в самом себе,
смеюсь я людям и судьбе,
уж не от них я жду награды.
но что? с бессонною душой,
с душою чуткою поэта ужели вовсе чужд я света?
проснуться может пламень мой,
еще, быть может, я возвышу
мой голос, родина моя!
ни бед твоих я не услышу,
ни славы, струны утая.

1834, февраль

Обеды

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое брожение,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтесь, чтоб гости за столом,
Не менее харит своим числом,
Числа камен у вас не превышали.

1839, октябрь

Звезды

Мую звезду я знаю, знаю,
И мой бокал я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюсь я:
Живет не здесь – в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои,
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!

1839, октябрь

На всё свой ход, на всё свои законы
На всё свой ход, на всё свои законы.

Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха не путем:
Салоны есть, – но этот смотрит детской,

1840–1843 (?)

Спасибо злобе хлопотливой
Спасибо злобе хлопотливой,

Хвала вам, недруги мои!

Я, не усталый, но ленивый.

Уж пил летийские струи.

Слегка седеющий мой волос

Любил за право на покой;

Но вот к борьбе ваш дикий голос

Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!

Как богоизбранный еврей,

Остановили на закате

Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,

И человеческим сынам

Досель безвестную, пирую

Я в зависть флакку, в славу вам!

1840–1843 (?)

«Сумерки». 1842

Князю Петру Андреевичу Вяземскому

Как жизни общие призывы,

Как увлеченья суеты,

Понятны вам страстей порывы

И обаяния мечты;

Понятны вам все дуновенья,

Которым в море бытия

Послушна наша ладия.

Вам приношу я песнопенья,

Где отразилась жизнь моя:

Исполнена тоски глубокой,

Противоречий, слепоты

И между тем любви высокой,

Любви, добра и красоты.

Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, –
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами.
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует Проведенье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!
Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благодати молю.
От вас отвлекь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834, ноябрь

Последний поэт
Век шествует путем своим железным,

В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!
Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, берега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы –
Возник поэт: идет он и поет.
Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.
Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодный,

Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подьёмлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.
И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Бодрым сердцем покоримся
Думам робким, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!
Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста, вещать полуотверсты,
Но гордя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!
Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.
Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада;
Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...
Где погребла любовница Фаона

Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!
И по-прежнему блистает
Хладной роскошью свет;
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

1835

Предрассудок! он обломок
Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.
Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.
Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

1841

Новинское
А.С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей,
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон

Не для любви – для вдохновенья.

1827

Приметы

Пока человек естества не пытал

Горнилом, весами и мерой,

Но детски вещаньям природы внимал,

Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она

Любовью ему отвечала:

О нем дружелюбной заботы полна,

Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,

Вран каркал ему в опасенье,

И замысла, в пору смирясь пред судьбой,

Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу волк,

Крутясь и подъявля щетину,

Победу пророчил, и смело свой полк

Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,

Блаженство любви прорицала.

В пустыне безлюдной он не был одним:

Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но, чувство презрев, он доверил уму;

Вдался в суету изысканий...

И сердце природы закрылось ему,

И нет на земле прорицаний.

1839

Всегда в пурпуре и в злате
Всегда в пурпуре и в злате,

В красе негаснущих страстей,

Ты не вздыхаешь об утрате

Какой-то младости твоей.

И юных граций ты прелестней!

И твой закат пышней, чем день!

Ты сладострастней, ты телесней
живых, блистательная тень!

<1840>

Увы! Творец непервых сил!
Увы! Творец непервых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописание!
Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? – непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил.

1838

Недоносок
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Блещет солнце – радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко;
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.
Но ненастье заревет

и до облак, свод небесный
Омрачивши, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.
Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянусь ли на землю –
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъямлю.
Смутно слышу я порой
Клик враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!
Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных – скорби тесных!
В тучу прячусь я и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле

Оживил я, недоносок.

Отбыл он без бытия:

Роковая скоротечность!

В тягость роскошь мне твоя,

О бессмысленная вечность!

1835

Алкивиад

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,

Дланью слегка приподняв кудри златые чела,

Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом

Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,

Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.

Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь, а в грядущем,

Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

1836

Ропот

Красного лета отрава, муха досадная, что ты

Въешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?

Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно

Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?

Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,

Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

1841

Мудрецу

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,

Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.

Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,

Жизнь для волнения дана: жизнь и волнение – одно.

Тот, кого миновали общие смуты, заботу

Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;

Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,

Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

1840

Филида с каждою зимою

Филида с каждою зимою,

Зимю новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

1842

Бокал
Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин, –
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.
Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.
Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!
Вот теперь со мной беседуй,

Упоенья проповеду
иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!
О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;
Плодородней, благородней,
дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.
И один я пью отныне!
Не в людском шуме пророк –
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченье
Общежительных страстей –
В одиноком упоенье
Мгла падет с его очей!

1836

Были бури, непогоды
Были бури, непогоды,
Да молодые были годы!
В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;
Вольной песнью разольется,
Скорбь-невзгода распоеется!
А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой,
Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый,

Не положишь ты на голос

С черной мыслью белый волос!

1839

На что вы, дни! Юдольный мир явленья

На что вы, дни! Юдольный мир явленья

Свои не изменит!

Все ведомы, и только повторенья

Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,

Развитием спеша,

Свой подвиг ты свершила прежде тела,

Бездумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений

Сомкнувшая давно,

Под веяньем возвратных сновидений

Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,

Без нужды ночь сменя,

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Венец пустого дня!

1840

Коттерие

Братайтесь, к взаимной обороне

Ничтожностей своих вы рождены;

Но дар прямой не брат у вас в притоне,

Бездарные писцы-хлопотуны!

Наоборот, союзным на благое,

Реченного достойные друзья,

«Аминь, аминь, – вещал он вам, – где трое

Вы будете – не буду с вами я».

1840–1841

Ахилл

Влага Стикса закалила

Дикой силы полноту

И кипящего Ахилла

Уязвимым лишь в пяди.
Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?
Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

1841

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъявля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

1839

Еще, как патриарх, не древен я
Еще, как патриарх, не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложение!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменье ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,

В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

Толпе тревожный день приветен
Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.
Ощупай возмущенный мрак –
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.
О сын фантазии! ты благодатных фей
Счастливым баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою –
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.

1839

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему пииту!
Малолетнюю хариту
Ранней лирой тронул он.
С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудью своею,

С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

1842

Что за звуки?
Что за звуки? Мимоходом

Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песне... Но искусство...

Старцев старее оно;

Эти радости, печали –

Музыкальные скрижали

Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!

Ты избранник, не художник!

Попеченья гений твой

Да отложит в здешнем мире:

Там, быть может, в горнем клире,

Звучен будет голос твой!

1841

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!

О жрец ее! тебе забвенья нет;

Всё тут, да тут и человек, и свет,

И смерть, и жизнь, и правда без покрова.

Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком

К ним чувственным, за грань их не ступая!

Есть хмель ему на празднике мирском!

Но пред тобой, как пред нагим мечом,

Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

1840

Скульптор

Глубокий взор вперив на камень,

Художник нимфу в нем прозрел,

И пробежал по жилам пламень,

И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожденный,

Уже он властвует собой:

Неторопливый, постепенный

Резец с богини сокровенной

Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной

Не час, не день, не год уйдет,

А с предугаданной, с желанной

Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея

Под лаской вкрадчивой резца,

Ответным взором Галатея

Не увлечет, желаньем рдея,

К победе неги мудреца.

1841

Осень

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,

И луч его в зеркале зыбком вод

Неверным золотом трепещет.

Седая мгла виется вокруг холмов;

Росой затоплены равнины;

Желтеет сень кудрявая дубов,

И красен круглый лист осины;

Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои серебристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов собирает;
Сметав в стога скошенный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопья стоят в копнах блестящих
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
Под тяжелой ношею скрипящих,
И хлебных скирд золотоверхий град

Подъемнется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!

Овины весело дымятся,

И цеп стучит, и с шумом жернова

Оживший мельницы крутятся.

Иди, зима! на строги дни себе

Припас оратай много блага:

Отрадное тепло в его избе,

Хлеб-соль и пенистая брага;

С семьей своей вкусит он без забот

Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,

Оратай жизненного поля,

И пред тобой во благостыне всей

является земная доля;

Когда тебе житейские бразды,

Труд бытия вознаграждая,

Готовится подать свои плоды

И спеет жатва дорогая,

И в зернах дум ее собираешь ты,

Судеб людских достигнув полноты, –

7

Ты так же ли, как земледел, богат?

И ты, как он, с надеждой сеял;

И ты, как он, о дальнем дне наград

сны позлащенные лелеял...

Любуйся же, гордись восставшим им!

Считай свои приобретенья!..

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским

Тобой скопленные презренья,

язвительный, неотразимый стыд

души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь – и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

9

Но если бы негодованья крик,
Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник,
Вполне торжественный и дикой, –
Костями бы среди своих забав
Содроглась ветренная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спешу, хозяин тароватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блестает он!.. Но вкус один во всех
И, как могила, людям страшен;
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревозвращенье –
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угломонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя неведальи,
Цветущий берег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным,
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой, –

13

Пред Промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ.
И утолненным разуменьем, –
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,

и лес подьѣмлет говор шумный,
и пенится, и ходит океан,
и в берег бьет волной безумной;
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
и звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
что страстное земное перешел.

15

пускай, приняв неправильный полет
и вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
и небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
в широких лысинах бессилья,
и радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой –
Все образы години бывшей
Сравниются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей, –
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

1837

Благословен святое возвестивший!
Благословен святое возвестивший!

Какой-нибудь несправедный изгиб
Сердце людских пред нами обнаживший.
Две области сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

1839

Рифма
Когда на играх Олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских;
В нем вера полная в сочувствие жила,
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем,
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил и славословил он
Или оплакивал народную форту
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего
Вития властвовал народным произволом;
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
А ныне кто у наших лир

Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Меж нас не ведает поэт,
Его полет высок иль нет!
Сам судия и подсудимый
Пусть молвит: песнопевца жар
Смешной недуг иль высший дар?
Решит вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного берега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

1840

С книгою «Сумерки» С.Н. К<арамзиной>
Сближеньем с вами на мгновенье

Я очутился в той стране,
Где в оны дни воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный сумерки мои.

1842, май

На посев леса
Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей молодой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольний мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.
Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит, –
К ее сынам еще взывает лира.
Велик Господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает Он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.
Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!
Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.
И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.

1842

Люблю я вас, богини пенья
Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья, –
Предтечей жизненных невзгод.

Одно. Молчу! Боюсь я,
чтоб пёрсты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.
И отрываюсь, полный муки,
От музыки, ласковой ко мне.
И говорю: до завтра, звуки!
Пусть день угаснет в тишине!

1842

Когда твой голос, о поэт
Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, –
Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,
И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?
Никто! – но сложится певцу
Канон намеднишним зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадиллом.

1842

Молитва
Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенья пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Небо Италии, небо Торквата
Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический Древнего Рима.
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упавших чертогов колонны!
1843 (?)

Когда, дитя и страсти и сомненья
Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волнение,
В нем таинство печали полюбя.
Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою;
Рай зрела в нем чудесная любовь.
О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я принимал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.
1843–1844

Пироскаф
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал Капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роят волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развев, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбацья качается в море, –
С берегом набрежное скрылось, ушло!
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душой
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!
С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!
Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

1844

Дядьке итальянцу
Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.

В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Имел я благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.
Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментора моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.
Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнью ее сливая жизнь свою,
Ее событиями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных,
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдат,
Входящих вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.
Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революционных фраз.
Народ ему зажег приветственные плашки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес;
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему корсиканца.
Что на твоём веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло, при тебе – в преданье перешло:
В альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталой,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой, – амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов
И ужасов и нег взлелеял эпопею,
Где в мраки Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.
Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдохов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный среди твоих красот
Не жаждал в их раю обрести навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном,
И в сей Италии, где всё – каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
чей безымянный лист так преданно обник,
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно, –
всё беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг,

Он улететь бы мог на крыльях Зефира!
О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно! (Уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала.)
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и дров иглистых
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

1844

Поэмы

Пиры
Друзья мои! я видел свет,
На все взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачён,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон.
я не скажу: всё в мире сон!
Но всё мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Любовник, иль поэт, иль воин, –
Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами нужными ему
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему,
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных.
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.
Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов
Порой красавицы дурачат;
Иной храбрец, в отцовский дом
Являсь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом;
О бог стола, о добрый ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей;
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться; но, ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!
Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,

Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчанье;
И каждый гость вблизи стола
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданье,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюда,
Златых плодов, десерта груды..
Зачем удел мой слабый дар!
Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь –
В застольном деле все удалы,
И осушают, не ленясь,
Свои широкие бокалы;
Они веселье в сердце льют,
Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И начались чудеса;
Смешались быстро голоса;

Своих собак, своих друзей,
Ловцов, героев хвалит смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковый,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.
Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Немудрены пирушки ваши,
Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где ваша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным боком
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блески острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищались на нем
Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездящаяся влага

В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! – восклицали, –
Слепая чернь, благоговей!»
Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
«Что потакать мечте унылой, –
Кричали вы. – Смелее пей!
Развеселись, товарищ милый,
Для нас живи, забудь о ней!»
Вздохнув, рассеянно послушной,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней!» невнятно лепетали.
И где ж изменница-любовь?
Ах, в ней и грусть – очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой, –
И каждый с ропотом вздохнул,

И вдаль побрел своей дорогой;
и каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь бывшее пролетает
или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.
О, если б, теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!
(Мечтать позволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
дубравой темной осененной,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
и с ними шумно пировали...
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Д<ельви>г мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, П<ушки>н наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
и страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
и лучшим гостем за бутылкой.

И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!
Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,
Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынный обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели;
Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело –
Подобно утреннему сну,
Всё изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей:
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет;
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! в безжизненные лета
Душа остылая согрета
Их утешением живым.
Пуская навек исчезла младость –

Авось приманенная радость

Еще заглянет в угол наш.

1820

Эда

«Чего робеешь ты при мне,

Друг милый мой, малютка Эда?

За что, за что наедине

Тебе страшна моя беседа?

Верь, не коварен я душой;

Там, далеко, в стране родной,

Сестру я добрую имею,

Сестру чудесной красоты;

Я нежно, нежно дружен с нею,

И на нее похожа ты.

Давно... что делать?.. но такая

Уж наша доля полковая!

Давно я, Эда, не видал

Родного счастливого края,

Сестры моей не целовал!

Лицом она, будь сердцем ею;

Мечте моей не измени

И мне любовь твою

Ее любовь напояни!

Мила ты мне. Веселье, муку,

Всё жажду я делить с тобой:

Не уходи, оставь мне руку!

Доверья мне, друг милый мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой

Так говорил гусар красивый

Финляндке Эде. Русь была

Ему отчизной. В горы Финна

Его недавно завела

Полков бродячая судьбина.

Суровый край, его красам,

Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы.
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе счастливой глуши,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, волосы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам.
День гаснул, скалы позлащая.
Пред хижиной своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в задумчивости томной,

Внимала слабым сердцем ей, –
Так роза первых вешних дней
Лучам неверным доверяет:
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.
В руке гусара моего
Давно рука ее лежала,
В забвенье сладком, у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал;
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И наконец в таких словах
Ему финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим,
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;
Меня ты любишь, вижу я:
Душа признательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
я угождать тебе спешу?
я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.

Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы,
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».
«Я твой губитель, Эда? я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет Небесный Судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!»
– «На что? зачем? какой мне стыд!» –
Младая дева говорит.
Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она.
Но держит он. «Постой! два слова!
Постой! ты взорами сурова,
ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься: миг забвенья,
Минуту шалости прости!»
– «Я не сержуся; но пусти!»
– «Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать:
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать».
– «Оставь меня!»
«Мой друг прекрасный!
И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь;
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!

Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»
И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.
Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромный,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего
Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Лила ты страстное забвенье?
Теперь, полна в душе своей
Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой
Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе безвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.
На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей серебристый,
И лес прохладною душистой
С востока веет поутру;

Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится:
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай и в дол прекрасный
Не приходи, а сверх всего –
Беги гусара твоего!
Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой.
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная, трепетная тень
От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает
И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.
Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи:
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло
И так внезапно в сумрак ночи?
Она рассеянна, грустна;

В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны,
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.
Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец, –
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подарит
Какой-нибудь наряд дешевый,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодной водой
И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленны холмы ляжет,
Ему красотка «добрый день»
И «добру ночь» приветно скажет.
Где время-то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине

Уж нет; незначащих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне
Бедняжка грудью припадет,
И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную, одна,
Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрашена,
Уныло шепчет: «Что со мною?
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!»
И слезы детские у ней
Невольно льются из очей.
Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил,
И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,

Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать? –
Сказала с кротостию мать. –
У нас смиренная такая
До сей поры была она.
И в чем теперь ее вина?
Грешись, бедняжку обижая».
– «Да, – молвил он, – ласкай ее,
А я сказал уже свое».
День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна, с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая Библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчанье сел, в молчанье руки
Сжал на груди своей крестом;

Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем всё являло. Наконец:
«Долг от меня, – сказал хитрец, –
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
я прихожу в последний раз;
Покроет землю сумрак ночи
И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровый,
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышуца, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?
И навсегда, любезный мой?..»
– «Бегу отселе; но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостью взоры;
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!
я волю дал любви несчастной
и погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасный
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой;
Пугаясь ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой

Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту
Моей любезной, – о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».
Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет, – сказала, –
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?
Оставь меня, лукавый дух!

Оставь, без новых угрызений».
Но вправду враг ему едва ль
Не помогал: с такою силой
Излил он ропот свой, печаль
Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой;
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моленья,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья! –
К ней приступил он наконец. –
Дай слово!» – «Всею душой тоскуя,
Какое слово дать могу я, –
Сказала, – сжался надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» – сказал.
Сказал и скрылся торопливо.
Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиранный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой;
На дверь задумчиво взглянула:
«Поверь, опасен гость ночной!» –
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Снять поспешила как-нибудь
Дня одеяния неловки,
Тяжелодышащую грудь

Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.
Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна в самом деле.
Пущу его: ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».
Так мнит уж девица, и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось – вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука
Дверь пошатнула: «Друг прекрасный,
Не бойся, Эда, это я!»
И, от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.
Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;

Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдись пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не утрашит,
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, покуда жив...
Напрасно все; она не внемлет,
Очей на друга не подъемлет,
Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;
Ей то же друга разговор,
Что ветер, бессмысленно свистящий
Среди ущелин финских гор.
Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.
Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствуется во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой
Приемлет их в полдневный зной
Густая сень дубровы сонной,

То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонной;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющимся потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвевает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми власами
Играет детскими перстами.
Когда ж подыметя луна
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.
Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обыкновеню порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.
Любовник в тихом забытыи
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.
Дорогой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вздохнула дева молодая,
На друга голову склоня.

«Так, – прошептала, – и меня,
Миг полелея, полаская,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое,
И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынкою своей
Их отерла и, веселей
Глядеть стараяся на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статься может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, Господь поможет!»
Невинной нежностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала;
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовь тоскливой
И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливый
Не тщетно!
Буйный швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья, –
Война, война! Грядущий день –

День рокового разлученья.
Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не смеет взоров.
Сгустилась ночь. В глубокий сон
Всё погрузилось. Унылый,
В последний раз идет он к милой.
Ее утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.
Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Девушка бедная, прости!
Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам..
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки.
Сковал потоки зимний хлад,

И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами,
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит, и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, выюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»
Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.

Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом всё пусто, всё молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

Эпилог

Ты покоришься, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И всё напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его лдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапно стеной
Их перед шведскими берегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!

Он в нем узнал орла Полтавы!

Всё покорилося. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.

Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь ее.

Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.

Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строи.

Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

1823

Бал
Глухая полночь. Строем длинным,

Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.

Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.

В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Другими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим

Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд;
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.
В движенье всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,
Меня слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.
Но гости глухо зашумели,
Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей». – «Ужели?»
– «В кадрили весело вертись,
Вдруг помертвела!» – «Что причиной?
Ах, Боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?» – «Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрсах шесть».
– «Что с ней, кузина? танцевали

В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?»
Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбались умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?
Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна,

У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те;
кто б не отер их у печали,
кто б не оставил красоте?
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшись вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар – не жар любви.
Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена –
На грудь роскошную она
Звала счастливец молодого;
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.

Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе хладной
Уж неприметен будет он.
В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забвению
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.
Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура и Ниноны,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал;
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.
Красой изнеженной Арсений

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Не привлекал к себе очей:

Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах –
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.
Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк,
Не знаю как, пред ним умолк –
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И, сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.
Неодолимо, как судьбина,
Не знаю, что в игре лица,
В движенье каждом пришлеца
К нему влекло тебя, о Нина!
С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею.
Ее смущал он много раз

Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.
Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Чрез день-другой потом они
Несходство в чувствах показали.
Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровый,
Унылый часто зрелся он:
Пред ним летал мятежный сон;
Всегда рассеянный, судьбину,
Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.
Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,
Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар –
Животворило все желанья,

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблистали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою, –
Она сказала, – что твой взор
Всё полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!
Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня, –
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.
Беги со мной – земля велика!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой

Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем;
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы винограда,
Шумят лавровые леса, –
Туда, туда! с тобой я рада
Забыть родные небеса.
Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен;
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых, – довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!...»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон
Тебя увлек, – сказал Арсений, –
Невольный мрак души моей –
След прежних жалких заблуждений
И прежних губительных страстей.
Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь;
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини».
День после, мирною четюю,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной

Меж тем по карточке визитной
водил небрежный карандаш.
Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,
Похож! ужели? мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!
Скажу, красавица такая
меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил хладный пот чело,
Непомертвелье блестели
Глаза одни. Вещать хотел
язык мятежный, но коснел,
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло.
И наконец ее страданье
Свободный голос обрело:
«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностию?.. Нет!

Так ведай, я знакома с нею,
я к ней способна! В старину
Меж многих редкостей Востока
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злоключенье
Меня при нем не устршит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит».
У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня, –
Сказал, – но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?
Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Олинька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темно-голубыми,
С темно-кудрявой головой.
Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.

Сжимая робкою рукою,
– “Скажи, – шептал я иногда, –
Скажи, любим ли я тобою?”
И слышал сладостное да.
В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шепот.
Я мук язвительных моих
Не снес – излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал “прости” всему: но мщеньем
Сопернику поклялся я.
Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края;
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать». Умолк.
Бессмысленно глядела

Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но, от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И всё в нем выразило муку.
И, обессилена, томна,
Главой покинула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?» –
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» – «Ничего».
Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!
«Что медлить, – к ней писал Арсений, –
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя

Удел решен. По старине
я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
я сохраню до поздних дней;
В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей».
Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар ее давно:
«Не принимает, нездорова!»
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижимая, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери пашут, растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.
И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты;
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомнись тебе пора.
Сегодня был у князь Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай;
Там будут наши молодые,

Ну что, поедешь ли?» – «Поеду», –
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело, – молвил князь, –
Прощай, спешу я в клоб к обеду».
что, нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.
Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облегал,
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.
Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!

Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя,
Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет,
Пуская узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».
Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.
Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И, словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастьем блистало

Что б ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.
Глухая ночь. У Нины в спальней,
Лениво споря с темнотой,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальный.
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной думой на челе?
Дверь заскрипела, слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет нежданный и живой
Вдруг озаряет весь покой;
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.
Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой;
Вдруг видит Нину пред собой,

Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитяtko мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя Бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!
И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
На перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая, –
Всечасно вышнего Творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла Бога... да.
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто Господа оставит,
Того оставит и Господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!
Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне». Вдыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула –
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула –
На ней поспешный смерти ход;

Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!
Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих бренности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами, –
О смерти Нины должну весть
Узаконёнными словами
Спешат по городу разнести.
В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье;
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.
Богатый гроб несчастной Нины,

Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который всегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.
1825–1828

Переселение душ
Зевес, любя семью людскую,
Попарно души сотворил
И наперед одну мужскую
С одною женской согласил.
Хвала всевышней благодетельнице!
Но в ней нам мало пользы ныне:
Глядите! ныне род людской,
Размножась, облил шар земной:
Куда пойду? мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Черным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не всё. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная – нос чужой
И посторонний подбородок!..
Враждуют чувства меж собой;
Признаться, способ мировой

находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нем живет один рассказ.
В земле, о коей справедливо
Нам чудеса вещает старь,
В Египте жил-был славный царь,
Имел он дочь – творенья диво,
Красот подсолнечных алмаз,
Любовь души, веселье глаз;
Челом белее лилий Нила;
Коралла пышного морей
Устами свежими алей;
Яснее дневного светила
Улыбкой ясною своей.
В пределах самых отдаленных
Носилась ее хвала
И женихами привела
К ней полк царей иноплеменных.
И Мемфис-град заликовал!
В нем пир за пиром восставал:
Светла, прелестна, восседая
В кругу любовников своих,
Моя царевна молодая
Совсем с ума сводила их.
И всё бы ладно шло; но что же?
Всегда веселая, она
Вдруг стала пасмурна, грустна,
Так что на дело не похоже.
К своим высоким женихам
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колких эпиграмм,
Им ничего не говорила.
Какая же была вина,
Что изменилась так она?

любовь. Случайною судьбою
Державный пир ее отца
Украсить лирною игрою
Призвали юного певца;
Не восхвалял он Озирида,
Не славил Аписа-быка,
Любовь он пел, о Зораида!
И песнь его была сладка,
Как вод согласное журчанье,
Как нежных горлиц воркованье,
Как томный ропот ветерка,
Когда, в полудень воспаленный,
Лобзает он исподтишка
Цветок, роскошно усыпленный.
Свершился вышний приговор.
Свершился! никакою силой
Не отразимый, с этих пор
Пред ней носился образ милой;
С тех пор в душе ее звучал,
Звучал всечасно голос нежный,
Ее питал, упоевал
Тоскою сладкой и мятежной!
«Как глупы эти дикари,
Разноплеменные цари!
И как прелестен он!» – вздыхая,
Мечтала дева молодая.
Но между тем летели дни;
Решенья гости ожидали,
Решенья не было. Они
Уже сердиться начинали.
Сам царь досадою вскипел;
Он не охотник был до шуток
И жениха, чрез трое суток,
Избрать царевне повелел.

Была, как громом, речью гневной
Младая дочь поражена.
На что ж, в судьбе своей плачевной,
Решилась, бедная она?
Рыдала долго Зораида,
Взрывала сердце ей обида,
Взрывала сердце ей печаль;
Вдруг мысль в уме ее родилась,
Лицом царица прояснилась
И шепчет: «Ах, едва ль, едва ль...
Но что мы знаем? статься может,
Он в самом деле мне поможет».
Вам рассказать я позабыл,
что в эту пору, мой читатель,
Столетний маг в Мемфисе был,
Изида вещей толкователь.
Он, если не лгала молва,
Проник все тайны естества.
На то и жил почтенный дядя;
Отвергнув мира суету,
Не пил, не ел, не спал он, глядя
В глаза священному коту.
И в нем-то было упование;
К нему-то, милые друзья,
Решилася на совещанье
Идти красавица моя.
Едва редееет мгла ночная,
И, пробуждаться начиная,
Едва румянится восток;
Еще великий Мемфис дремлет
И утро нехотя приемлет,
А уж покинув свой чертог,
В простой и чуждой ей одежде,
Но страха тайного полна,

Доверясь ветреной надежде,
Выходит за город она.
Перед очами Зораиды
Пустыня та, где пирамиды
За пирамидами встают
И (величавые гробницы)
Гигантским кладбищем ведут
К стопам огромной их царицы.
Себе чуждак устроил тут
Философический приют.
Блуждает дева молодая
Среди столицы гробовой;
И вот приметен кров жилой,
Над коим пальма вековая
Стоит, роскошно помавая
Широколиственной главой.
Царевна видит пред собой
Обитель старца. Для чего же
Остановилась она,
Внезапно взором смущена
И чутким ухом настороже?
Что дланью трепетной своей
Объемлет сердце? что так пышет
Ее лицо? и грудь у ней
Что так неровно, сильно дышит?
Приносит песнь издалека
Ей дуновенье ветерка.
Песня
Зачем от раннего рассвета
До поздней ночи я пою,
Безумной птицей, о Ниэта!
Красу жестокою твою?
Чужда, чужда ты сожаленья:
Звезда взойдет, звезда зайдет;

Сурова ты, а мне забвенья
Бессильный лотос не дает.
Люблю, любя, в могилу сниду;
Несокрушима цепь моя:
Я видел диво-Зораиду,
И не забыл Ниэты я.
Чей это голос? Вседержитель!
Она ль его не узнает!
Певец, души ее пленитель,
Другую пламенно поет?
И вот что боги ей судили!
Уж ей колена изменили,
Уж меркнет свет в ее очах,
Без чувств упала бы во прах,
Но нашей деве в то мгновенье
Предстало чудное виденье.
Глядит: в одежде шутовской
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий,
В какой-то острой шапке он;
Пестреет множеством каракул
На нем широкий балахон, –
То был почтенный наш оракул.
К царевне трепетной моей
Подходим он; на темя ей
Приветно руку налагает,
Глядит с улыбкою в лицо
И ободрительно вещает:
«Прими чудесное кольцо;
Ты им, о дева! уничтожишь
Хитросплетенный узел твой;
Кому на перст его возложишь,
С тем поменяешься звездой.

Иди, и мудрость Озирида
Наставит свыше мысль твою.
Я даром сим, о Зораида,
Тебе за веру воздаю».
Возвращена в свои чертоги,
Душою полная тревоги,
Царевна думает: «Во сне
Всё это чудилось мне?
Но нет, не сновиденье это!
Кольцо на палец мой надето
Почтенным старцем – вот оно.
Какую ж пользу в нем найду я?
Он говорил, его даруя,
Так бестолково, так темно».
Опять царевна унывает,
Недоумения полна;
Но вот невольниц призывает
И отыскать повелевает
Свою соперницу она.
По повелению другому,
Как будто к празднику большому
Ее чертоги убраны,
Везде легли ковры богаты,
И дорогие ароматы
Во всех кадилах возжжены,
Все водометы пущены;
Блистают редкими цветами
Ряды узорчатых кошниц,
И полон воздух голосами
Дальнеземельных, чудных птиц;
Всё негой сладостною дышит,
Всё дивной роскошью пышет.
На троне, радостным венцом,
Порфирой светлую блистая,

Сидит царевна молодая,
Окружена своим двором.
Вотще прилежно наблюдает
Ее глаза смущенный двор
И угадать по ним желает,
Что знаменует сей позор.
Она в безмолвии глубоком,
Как сном объятая, сидит
И неподвижным, мутным оком
На двери дальние глядит.
Придворные безмолвны тоже.
Дверь отворилась: «Вот она!»
Лицом бледнее полотна,
Царевна вскрикнула. Кого же
Узрела, скорбная душой,
В толпе невольниц пред собой?
Кого? – пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злую,
С нахмуренным, упрямым лбом.
Царевна смотрит и мечтает:
«Она ли мне предпочтена!»
Но вот придворных высылает
И остается с ей одна.
Царевна первого привета
Искала долго, наконец
Печально молвила: «Ниэта!
Ты видишь: пышен мой дворец,
В жемчуг и золото я одета,
На мне порфира и венец;
Я красотой диво света,
Очарование сердец!
Я всю славою земною

Наделена моей звездою, –
Чего желать могла бы я?
И что ж, Ниэта, в скорби чудной
Милее мне твой жребий скудный,
Милее мне звезда твоя.
Ниэта, хочешь ли, с тобою
Я поменяю звездою?»
Мудрен царевнин был привет,
Но, не застенчива природно,
«Как вашей милости угодно», –
Ниэта молвила в ответ.
Тогда на палец ей надела
Царевна дивное кольцо;
Закрыть смущенное лицо
Руками бедная хотела;
Но что же? в миг волшебный сей
Моя царевна оживилась
Душой Ниэтиной; а в ней
Душа царевны очутилась.
И, быстрым чудом бытие
Переменив, лицо свое
Закрыла дурочка степная,
Царевна же, наоборот,
Спустила руки на живот,
Рот удивленный разевая.
Где Зораида, где она?
Осталась тень ее одна.
Когда ж лицо свое явила
Ниэта, руки опустя
(О, как обеих их шутя
Одна минута изменила!),
Блистало дивной красотой
Лицо пастушки молодой;
Во взорах чувство выражалось,

Горела нежная мечта,
Для слова милого, казалось,
Сейчас откроются уста,
Ниэта та же, да не та.
Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса,
Так зелень свежую наводит
На рощи пыльные роса.
С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? о счастье прямом
Проведать людям неудобно;
Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму
И, драгоценное, подобно
В том драгоценному всему.
Где искрометные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях Земли,
На темном дне морской пучины.
А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже под сердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житье-бытье простое

И сам, где надо, завернуть
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней.
Что я прибавлю, друг мой нежный?
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей;
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!
Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он – твой достаток справедливый,
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.

1828–1829

Цыганка
Глава 1

«Прощай, Елецкой: ты невесел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам?»
– «Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел Сара,

Ступай, я сяду за рояль».

– «Могу сказать, вас будет пара:

Ты охмелен, и в сон она

Уже давно погружена.

Прощайте, господа!..»

Гуляки

Встают, шатаясь на ногах;

Берут на стульях, на столах

Свои разбросанные фраки,

Свои мундиры, сюртуки;

Но, доброй воле вопреки,

Неспоры сборы. Шляпу на лоб

Надвинув, держит пред собой

Стакан недопитый иной

И рассуждает: «Надлежало б...»

Умом и телом недвижим,

Он долго простоит над ним.

Другой пред зеркалом на шею

Свой галстук вяжет, но рука

Его тяжка и неловка:

Всё как-то врозь идут под нею

Концы проклятого платка.

К свече приставя трубку задом,

Ждет третий пасмурный чудак,

Когда закурится табак.

Лихие шутки сыплют градом.

Но полно: вон валит кабак.

«Прощай, Елецкой, до свиданья!»

– «Прощайте, братцы, добрый путь!» –

И, сокращая провозанья,

Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшись, Елецкой

Брюзгливым оком обозрел

Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгуля
Всегдашний безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы середи стола
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
и в блеске утренних лучей
уже бледнеющих свечей.
Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена
Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.
Под раннею лазурной мглой
Блестящей влагой блеск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,

Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивый,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.
Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья –
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

Глава 2

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник Пасхи, в Новый год
К дядям и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход..
Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться

Ему в гостиных стало душно:
То было глупо. Это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буйанов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений
Иль половины их большой,
Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений;
Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.
С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.
Тут нашей повести начало.
Неделя светлая была
И под Новинское звала
Граждан московских. Всё бежало,
Всё торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,

На краткий срок, в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник:
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубы,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чёт и нечет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
Качели крашенные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,
Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.
Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.

Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретилась она;
Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого!
Упадший дух подъемля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девице руку подает
Ее сосед, старик почтенный;
Из балагана идут вон –
И их в толпе теряет он.
Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.
Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,
С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный

Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком
Он в самом опыте страстей,
И наконец среди пороков,
Кипевших роем вокруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но, побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

Глава 3

Незамечаем и неведом,
За милю бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных Пресненских прудов,
В аллеях стриженных бульвара,
Между красавиц городских
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал –
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,

Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.
Однажды... погасал, свежая,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще, в болтливом забытьи,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.
Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он ее
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила
Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу душой своей довольной,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразил
Своей услугой своевольной,
И, хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.
Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.

Дождь бесконечный ливня лил;
И вот мороз его сменил.
Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил, –
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на Пресненских прудах,
На обнаженных деревьях
Бульвара иней серебрится.
Там, где недавно порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой мужик брадатый
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечером при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит..
Но вот в известном маскараде
Должна быть вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.
Живая музыка играет;
Кадрили вьются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает,
И кстати, большинство гостей;
В тени их он еще видней.
Призраки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас!..»

Недостает воображенья.

Признаться надобно: не нам,

Сугробов северных сынам,

Приноровляться к детям юга!

Метелей дух не создал нас

Для их блистательных проказ.

К чему неловкая натуга?

Мы сохраняем холод свой

В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит

И веру чуть с ума не сводит.

Успел разведать он о ней

Довольно этих мелочей,

В которых тайны роковые

Девы видят молодые.

В словах запутанных своих

Он намекает ей о них;

И, удивленья и смущенья

Полна, горит она лицом

И вот выходит из терпенья.

«Я как обманутая сном!

Скажите, ради Бога, кто вы?»

Е л е ц к о й

Вы любопытны, как дитя.

Итак, со мною не шутя

Вы познакомиться готовы?

Нежданным именем моим

Я испугаю вас.

В е р а

Как скучно!

Всё шутки.

Е л е ц к о й

Я не склонен к ним

Я дух... и нет глуши, жилья,
Где б я, незримый, не был с вами.
Всё чутким ухом слышу я,
Всё вижу зоркими очами.
Не бойтесь! слушаю, гляжу
я с полной преданностью дружбы;
Неожидаемые службы
я вам догадливо служу;
Однажды перед ваши очи
я в виде смертного предстал;
В ту пору сумрак летней ночи
Мне образ видимый давал...
Вы узнаете?
В е р а
Ваши сказки
Вы продолжите до утра.
Смотрите: все снимают маски,
Снимите же свою, пора!
Е л е ц к о й
Не мне. Оставьте убежденья,
я не исполню ваш приказ.
Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.
Нет, нет: я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти нежданно уловленный
Счастливой маскою моей,
чем взор холодного смущенья,
который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угожденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте; я не здешний житель,

Я должен вовремя сойти.
Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецкий вместе за толпой.

Глава 4

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами
Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный
Он, тем же чувством озаренный,
Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.

Казалось, в продолжение ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она прорывисто чесала
Густые, черные волосы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.
Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он.
«Что это смотришь ты совой? –
Сказал он. – Сара, что с тобой?
Да молви слово!»

С а р а

Ах, мой Боже!

Ты ждешь ответа моего?

Вот он: я знаю, отчего

Ты так доволен!

Е л е ц к о й

Отчего же?

С а р а

Меня ты думал обмануть,

Когда вчера, кривя душою,

Ты мне с заботою такую

Скорей советовал заснуть!

«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?

Ляг, Сара, спать!» И я легла,

Да уж нарочно не спала!

Давно грозит мне эта кара!

Давно я брошена тобой!

Двух слов со мной не произносишь,
любимых песен петь не просишь!

Да и по ком твоя душа
уж так смертельно заболела?

Ее вчера я разглядела:
совсем, совсем не хороша!

Е л е ц к о й
Так вот в чем дело!

С а р а
Сара знает,
какая ждет ее судьба
за то, что служит, угождает
тебе по воле, как раба:

со знатной барышней своею
ты обвенчаешься, а с нею
простишься, и ее на двор
метлою выметут, как сор.

Е л е ц к о й
ты совершенно сумасбродишь!

Какие странные мечты!
по пустякам горюешь ты
и на меня тоску наводишь.

С а р а
А кто, бывало, говорил,
ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
будь мне подругою! со мной
живи под кровлею одной!
я нравом весел; живо, шумно,
в пирах и песнях завсегда
мы будем проводить года».
я согласилась безумно.

Е л е ц к о й

Из моих речей

Тобой забыта половина.

Я говорил: твоя судьбина

Не будет скована с моей!

Покуда любо жить со мною,

Живи! наскучило – прощай,

Былую радость поминай!

С твоей свободой той порою

Я выговаривал мою.

Но я тебя не узнаю!

И, сердце будущим тревожа,

Ты на цыганку не похожа.

Ваш род беспечен.

С а р а

Проклят он!

Он человечества лишен!

Нам чужды все края мирские!

Мы на обиды рождены!

Забавить прихоти чужие

Для пропитанья мы должны.

Я о себе молчу: цыганка

Вам не подруга, а служанка!

Она пляши и распевай,

А сердцу воли не давай.

Е л е ц к о й

Оставь пустые опасенья,

Не разлучимся мы с тобой.

Хотя другого поколенья,

Родня я вашему судьбой.

И я, как вы, отвержен светом,

И мне враждебен сердца глас...

Не распадется, верь мне в этом,

Когда с цыганкой молодою
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он; но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участия,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой томной увлечен.
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты;
Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты,
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала
Иль в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала;
Но смутно трогалась, и ей

Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладел по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;
Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала;
Но завсегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый,
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновенье упадал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей,
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

Глава 5

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Как часто в середине бала,
Когда уж музыка играла
Иль поурри, иль котильон
И Вера, со своим танцором

Наскуча пошлым разговором,
Погружена в сторонний сон,
Глазами молча провожала
Среди блистательного зала
Пред нею вьющиеся четы, –
Елецкой речию своею,
Нежданно слышимой за нею,
Вдруг прерывал ее мечты.
Довольно холодно сначала
С ним в разговор она вступала,
Но оживлялася потом,
И, ободрен ее вниманьем,
Он был заманчивым свиданьем
К свиданью новому влеком.
Однажды она за стулом Веры
Средь вихря бального сидел.
В своих речах уж не умел
Он соблюдать холодной меры;
Она исчезнула. Лишен
Над пылким сердцем всякой власти,
Уж говорил открыто он
С ней языком мятежной страсти,
Кончая, «Дайте мне ответ! –
Он молвил. – Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;
Но вы? что думаете вы
О том, который вас так любит?»
В е р а
Что все другие; даже мне
Еще известнее, как права
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.
Е л е ц к о й

Но почему же, отчего же?

В е р а

Когда глаза мои в тот раз

Меня в обман не приводили,

Словами вашими сейчас

Двух, не одну вы оскорбили.

Е л е ц к о й

Я вашей искренности рад.

Уже в судьбе моей стократ

Я с вами жажду объясненья!

Примите исповедь мою,

Весьма во многом, нет сомненья,

Останусь я без извиненья,

Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть

Минувших дней своих вступил,

Свою запутанную совесть

Он перед Верой обнажил;

Поверил ей без украшенья

Свои былые заблужденья,

К которым, впрочем, был влеком

Он меньше сердцем, чем умом.

С ее случайно знакомкой,

Своею смуглой однодомкой,

Свое сближенье передал,

Как сам его он понимал:

Одним внушением унылым

Души, томимой пустотой,

Союзом, столько же постылым

Теперь ему, как ей самой.

«К ней обратиться, – он прибавил, –

Безумный миг меня заставил;

Ошибся я в себе и в ней.

Я для души ее не нужен, –
Нужна другая для моей».
И тихо речь его журчала
За верой, ей одной слышна.
Но что? вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено,
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуру толковал.
Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотою.
Недавно дева молодая,
Красою свежую блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;

Себе избрать кумир единый
и тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить стали душу ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!
С какою сладостью о нем
В невольном забытьи своем,
Уединенная, мечтала!
Как, новой жизнью дыша,
легко ей было! Как блистала,
как ликовала в ней душа!
Девушка юная не знала,
Живого счастья полна,
что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно, –
Грозы погубительной пророк;
что вдруг дохнет она мятежно,
и мир в глазах ее затмит,
и все красы его разрушит,
и все цветы его иссушит,
и жизни путь опустошит.

Глава 6

Летели дни. Свои свиданья
Елецкой с Верой продолжал,
и с каждым больше упованья

Увы! старательно скрывая
Заботу сердца, между тем
Наверно дева молодая
С ним не обмолвилась ничем;
Но не владела выраженьем
Лица невинного она,
На нем со всем ее смятеньем
Была душа ее видна.
«Любим я!» – с ропотом и мукой
Елецкой сам себе твердил.
Великий пост уж подходил
И с верой скорою разлукой,
Разлукой долгою грозил!
.
.
«Нет! – мыслит он, – до расставанья,
Во что бы ни было, должна
Решить судьбу мою она!»
Он ждет удобного мгновенья;
И вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
При свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,
Насильно всматривалась в ноты..
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрывала их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вздрагнула дева молодая,
Оборотилась, глядит –

«Не беспокойтесь, ради Бога!

Какая странная тревога

У вас написана в глазах!

Я вас прошу, не уходите!

Чего боитесь вы? сидите,

Я всё скажу вам в двух словах».

В е р а

Я не могу остаться с вами!

Подите. Разговор такой

Мне неприличен. Боже мой!

Одна я, видите вы сами!

Подите.

Е л е ц к о й

Наперед я знал,

Что я застаю вас одною,

Одну я видеть вас желал.

Остаться должно вам со мною,

Вам должно выслушать меня.

В е р а

Оставьте до другого дня,

Я умоляю вас, подите!

Мой дядя будет сей же час.

Е л е ц к о й

Один вопрос: люблю я вас,

Вы это знаете. Скажите:

Я равнодушен вам иль нет?

В е р а

На всё, на всё один ответ!

Подите!..

Е л е ц к о й

Вы ли говорили?

Я ль слышал вас? и не во сне!

Я не любим... Зачем же мне

Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите, мне внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?
Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! в ваши лета!
Мою любовь мне не забыть;
желал бы я ее предмета
Не презирать. Но, так и быть!
Прощайте!
В е р а
Нет! такого мненья
я не оставлю ни за что!
Неправы ваши заключенья...
я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...
Е л е ц к о й
Вы?
Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгий
Не согласится никогда;
молитвы будут без плода.
Нет, вера, нет! другой дорогой
Идти нам должно. Для венца

Я ждать вас буду. Всё готово.

Бежать со мною дайте слово!

Любовь слепая мне нужна.

Решитесь.

В е р а

Я изумлена

Таким неожиданным предложеньем.

Нет, это будет преступленьем!

Нет, я и думать не хочу!

Я так ужасно огорчу

Того, который...

Е л е ц к о й

Всё забудет

Он, нашим счастьем счастлив,

И напоследок справедлив

Он и ко мне, наверно, будет.

Ему (вам нужно ль обещать?)

Я буду сыном самым нежным.

Страдал я долго безнадежным –

Ах, вера! снова ли страдать!

Меня вы любите; судьбиной

Оставлен нам исход единый.

Ах, вера, вера! сердце в вас

Сей миг решительный измерит,

Меня печально разуверит

В нем малодушный ваш отказ.

Всё, всё он кончит между нас!

Бегите, вера! дайте руку...

Не на ужасную разлуку,

С которой не сживуся я,

Но на союз святой и вечный.

Мой милый друг, мой друг сердечный!

Скажи: не правда ль? ты моя?

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться? Боже, Боже!
Подумать дайте в тишине!
Е л е ц к о й
Я знаю, горестная мера;
Но – ты ль не видишь? – нет иной!
Решись!

В е р а

Не нынче!

Е л е ц к о й

Нынче, Вера;
Сегодня, друг бесценный мой!
Недолго дева молодая
Еще противилась ему.
Он нежно к сердцу своему
Прижал ее. Лицом пылая,
Потупя взор, склонив главу,
Она умом изнемогала
И, ни во сне, ни наяву,
Свое согласие прошептала.
Елецкой ликовал душой;
По темной улице домой
Он шел походкою веселой.
Но у порога своего
Остановился: ум его
Смутился думою тяжелой:
Там Сара! – в голове своей
Уже Елецкой принял меры,
Чтоб неприличной встрече с ней
Вновь не подвергнуть милой веры.
Москву с невестой в эту ночь
Покинет он; обряд венчальный

Он всё предвидел, всё точь-в-точь
Обдумал. Сары он не знает;
Любовью в ней не почитает
По нем расчетливой любви;
Не верит в ней ревнивой муке.
«Из них любую призови –
Все тверды в нужной им науке!» –
Там мыслил он. Но в этот миг...
Иль Сару лучше он постиг
При наступающей разлуке?
Упрек в душе его возник.
Его докучное внушенье
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменье,
Вошел в свой дом, где в то мгновенье
И Сара думала о нем.

Глава 7

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она
Платком в лицо себе махала –
Прохлады воздух не давал,
Но кровь ей пуще волновал!
Игру к работе принуждала –
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала –
Еще тошнее: карты ввали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.

Их со стола она столкнула,

Шитье отбросила, вздохнула,

На стол локтями опершись,

Цыганка стиснула руками

Чело... и смятыми кольцами

Вкруг пальцев кудри обвилились.

Закрыв глаза, она сидела...

Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» – к ней

В покой из боковых дверей

Цыганка старая глядела.

С а р а

Ненила, ты? войди скорей;

я заждалась тебя, Ненила;

Совсем я брошена, совсем!

Не угожу ему ничем.

Хотя бы ты мне услужила!

что, принесла ли?

С т а р у х а

Принесла.

Да уж насилу добрела,

Метель такая закутила!

Гляди-ка – вот твое вино!

Уж удружит тебе оно,

Спасибо скажешь.

С а р а

Ах, Ненила!

Верь, ты мне душу воротила!

я люблюсь ему опять?

Да полно, правда ль?

С т а р у х а

Что мне лгать!

Лишь дай испить, сама увидишь!

Он обвенчается с тобой,

И заживешь ты госпожой,

Ты мне поверь, моя красотка,
Придут благие времена!

С а р а

Как я тобой одолжена!
Но там идут... его походка.
Поставь подарок свой на стол.
Да и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле.

Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил,
Речь наконец к ней обратил:
«Тебе сказать я должен новость!

С тобой я скоро расстанусь.

Послушай, Сара! я женюсь».

Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей проник,

Оно то стыло, то кипело;

Хотела б смертная тоска

Излиться воплем и слезами...

Рвались бурными волнами

У ней попреки с языка...

Но эти первые движенья

Она в себе перемогла

И голос мирный обрела,

Хотя дрожащий от волненья.

«Давно я этого ждала!

Не удивишь меня разлукой, –

Сказала Сара. – Долгой мукой

я приготовлена была.

А скоро ль свадьба?»

В доме этом

я не ночую; не жалею

О старине. В судьбе твоей

я обязуюсь ответом,

И уж подумал я о ней;

Довольна будешь.

С а р а

Мне не нужно

Постылых милостынь твоих.

Не беспокойся, и без них

С тобой расстануся я дружно.

Пенять не буду я тебе.

Жила я весело, счастливо;

Теперь не то, – какое диво?

Не всё стоять одной судьбе!

У нас верна одна могила;

А кто на свете долго мил?

Как ты сегодня разлюбил,

Так я бы завтра разлюбила;

За что сердиться?

Е л е ц к о й

Очень рад.

Дай руку, Сара! Пред тобою

я совершенно виноват.

Я вижу, выше ты душою,

Чем полагал доселе я:

Ты не притворщица пустая.

Обыкновенье наше зная,

Я ждал упреков, слез, вытья...

Спасибо, нет их; без сомненья,

Простимся дружно мы с тобой,

Мила ты, Сара!

С а р а

В душе... Но что до сокрушенья?
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть Господня!
Простимся весело. Сегодня
я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условие!
Не то сейчас заплачу... На!
Е л е ц к о й
Твое здоровье? Рад душою..
И вот – ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?
С а р а
Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.
И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.
«Скажи мне, – Сара продолжала, –
Судьбою новою своей
Доволен ты?»
Е л е ц к о й
А что?
С а р а
Ей-ей!
я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем..
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнишь порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,

Тебе наскучила же я!
Жаль бедной! по себе я знаю,
И слишком знаю, каково!
Как я бы выла да рыдала,
Когда бы втайне не питала
Еще у сердца моего
Одной надежды!
Е л е ц к о й
Полно, что ты?
Все были кончены расчеты, –
Что за надежда?
С а р а
Брежу я.
И как равняться я посмею
С невестой счастливой твоею!
О ней единой мысль твоя;
Ты ею дышишь. Ах, царица,
Царица светлая она!
Я перед нею пыль одна.
Но... в ум придет же небылица!
Забудь любовь свою на час:
Какая разница меж нас?
Что я цыганкой уродилась?
Что нет за мною сел, хором?
Что говорить не научилась
Я иностранным языком?
Вот всё. Не шутка, очень знаю!
Но сердцем я не уступаю
Твоей невесте. Чем она
Любовь поныне доказала?
Какие слезы проливала?
Что перенести была должна?
А я... что слез я источила,

Молчанье горькое храня!
Ты разлюбил, я всё любила;
Ты гнал безжалостно меня –
К тебе я, злобному, ласкалась,
Как собачонка. Рассмотри
Меня получше: говори,
Такая ль я тебе досталась?
Глаза потухнула от слез;
Лицо завяло, грудь иссохла;
Я только, только что не сдохла!..
Ты всё молчишь?
Е л е ц к о й
Тебе нанес
я много горя... Я не ведал,
когда другой мой жребий предал,
что ты... Но что со мною?.. Свет
в глазах темнеет... все кружится..
Мне дурно, Сара, дурно..
С а р а
Нет!
Я знаю, что в тебе творится.
В душе мятущейся твоей
Я чудным чудом оживаю,
Разлучницы проклятой в ней
Бесовский образ погашаю.
Бледнеешь ты... Немудрена
Измена мне, а ей страшна!
Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, крушись она!
С тоски иссохни, как лучина!
Умри она! ты мой: приди,
Прижмись опять к моей груди!
Очнись от лютого угара,

Узнай меня, узнай: я Сара!
Я Сара прежняя твоя.
Цыганка страстными руками
Его, рыдая, обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
От даже тихо приклонился
К ее плечу; на нем, немой,
Казалось, томно позабылся.
По грозной буре, тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! подействовали чары!» –
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит –
Он всё лежит, он всё молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она вгляделась – труп холодный
В ее объятиях лежал.

Глава 8

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.
Луна не светит, всё молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна

Никем не встречена она.
В лицо, суровый и холодный,
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья...
Бегут мгновенья! Вера ждет –
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло... девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж, голубея, крался день.
Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской,
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травой,
И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.
Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез,
У ней исторг обман ужасный?
В ту ж зиму, с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась,
Блещет тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит

Чуть-чуть короткий разговор.

Подчинены ее движенья

Холодной мере. Верин взор,

Не изменяя выраженья,

Не выражает ничего.

Блестящий юноша его

Не оживит, и нетерпенья

В нем не заметит старый шут;

Ее смешливые подруги

В нескромный смех не вовлекут;

Разделены ее досуги

Между роялем и канвой;

В раздумье праздном не видали

И никогда не заставляли

С романом Веры Волховской.

Девницей самой совершенной

В устах у всех она слывет.

Что ж эту скромность ей дает?

Увы! тоскою потаенной

Еще ль душа ее полна?

Еще ли носит в ней она

О прошлом верное мечтанье

И равнодушна ко всему,

Что не относится к нему,

Что не его воспоминанье?

Или, созрев умом своим,

Уже теперь постигла им

Она безумство увлеченья?

Уразумела, как смешно

И легкомысленно оно,

Как правы принятые мненья

О романтических мечтах?

Или теперь в ее глазах

Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с уточненностью такую,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
желает искупить она?
Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши –
Утрачен Верой молодую
Иль жизни цвет, иль цвет души.
Куда заснувшю столицей
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее полезд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоромах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой
Где, ночи шумной ожидая,
Еще с вечерней первой мглой
В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но всё египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С веселым шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,

Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подруги смуглые подсели;
Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздыхнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор –
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор – и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара
Цыганка вынести не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упавший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.

1829–1842

Проза

Перстень

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, – словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожай за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, – конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, – правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказанья и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьего, прежде существовавшего, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самую грубую пищу и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, – к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корни, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! – сказал он со вздохом жене своей, – еще раз попробую счастья», – обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и корней, на окнах стояли бутылки и банки с разными настояями. Некому было о нем доложить; он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, – Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выразивший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженный в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к нему; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля Твоя!» – сказал он. «Это ваш перстень, – продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, – и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объявил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч, – сказал Опальский, – завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте, – вскричал восхищенный Дубровин, – что я могу еще требовать? – Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей, вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны, – прервал Опальский. – Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось), этот перстень даст вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу; завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неопisanном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? – думал он. – Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? – сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. –

Боже! что с нами будет! – Но не желая умножить его горести: – Утешься, – прибавила она голосом более мирным, – Бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, ежели ты думаешь, – сказал Дубровин. – Опальский дает десять тысяч... Все слава Богу».

«Слава Богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но ради Бога...»

«По слухам... только по слухам... – Скажи, как достается тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне, – сказала она. – Какая

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
скрытая! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, – сказал Дубровин, – я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, записаться тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку благодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоростижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были рассказы, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспреданно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти – любопытство и любовь – довели его до гибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходит к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

«Чего ты хочешь?» – сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовью... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Марию», – отвечал он голосом твердым.

«Можешь, но с условием».

Антонио задумался. «Согласен! – сказал он, наконец, – но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»

«Будет, – отвечал дух. – Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, – Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинувшись безмолвно своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух; они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» – спросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов», – отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума; отрекаясь за неопита Антонио от Бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на Божий мир – глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию, глаза ее обращались к нему с любовью; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлением.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоём подданстве, – сказал он ей, – как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокожик, – закричал дон Педро, увидя входящего Антонио, – ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!»

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось у Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою, – сказал он. – Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? – закричал дон Педро, – ступай, ступай, не останавливайся!»

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его мольбам; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» – закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» – спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...» – отвечал Антонио. «Благодарю», – сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стлы воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух, – Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп, – подумал он напоследок, – это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своеобразие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? – вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. – Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, – прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. – Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел Бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом, – сказала Марья Петровна, – вы живете господами». – «Слава Богу! – отвечала Александра Павловна, – а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому добродушному Опальскому». – «И моему перстню», – прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? – вскричала Марья Петровна. – Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне <его> видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый, – продолжала Марья Петровна, – перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со меху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на Святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинение Эккертсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную склонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де ла Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в это время была довольна ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень, – сказал Дубровин, – с чужого коня и среди грязи долой». – «И, батюшка, что мне в нем?» – отвечала Марья Петровна. «Не шутите им, – прервала Александра Павловна, – он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же». – «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» – спросил Дубровин. «Слава Богу, – отвечал слуга, – вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина: «Любезный Дубровин, – сказал он ему, – кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, – вы утешили вашу дружбу бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики, – продолжал он после долгого молчания. – Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои Бог милосердный и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался, – сказал священник, выходя из комнаты, – но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владельцем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владелец перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владелица перстня, между собою не ссорились

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.

Комментарии

В предлагаемый читателю сборник вошли стихотворения, поэмы и повесть «Перстень» Е.А. Баратынского.

Стихотворения и поэмы размещены в хронологическом порядке, кроме сборника «Сумерки», представляющего собой отдельный стихотворный цикл, композиция которого определена самим поэтом. Под каждым стихотворением стоит дата его написания. Если точное время создания стихотворения неизвестно, то под стихотворением поставлена дата его первой публикации, заключенная в угловые скобки. Предположительные даты сопровождаются знаком вопроса. Поскольку в конце издания помещен Словарь мифологических имен и названий, в комментариях мифологические имена и названия не поясняются.

Тексты стихотворений и поэм печатаются по изданию: Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений: Новая библиотека поэта. СПб., 2000 – с устранением замеченных опечаток и исправлением отдельных текстов по последним публикациям. Текст повести «Перстень» печатается по изданию: Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М.: ГИХЛ, 1951.

Стихотворения

«Взгляните: свежестью молодой...» – В журнальной публикации названо «Мадригал пожилой женщине, и все еще прекрасной». В издании первого сборника стихотворений 1827 г. опубликовано под заглавием «Женщине пожилой, но все еще прекрасной». В соответствии с общей установкой сборника 1835 г. заглавие снято, как и большинство названий других стихотворений. Посвящено Марии Андреевне Панчулидзевой (1781–1845), любимой тетке поэта.

Летун седой – Кронос, бог времени; изображался стариком с крыльями.

Портрет В... – Адресовано кузине (двоюродной сестре) Варваре Николаевне Кучиной. Впоследствии, в иной редакции, вписано в альбом Анны Васильевны Лутковской (ок. 1804–1879), племянницы командира Нейшлотского полка, в котором служил Баратынский [1] в Финляндии (см.: «Лутковскому»). Новая редакция, связанная с переадресовкой стихотворения, относится к 1823–1824 гг.

Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?

Вчера задумчива, я помню, ты была,

Сегодня ветрена, забавна, весела,

Понятна сердцу ты, уму непостижима.

Не все ль противности в характере твоём?

В тебе чувствительность с холодностью совместна,

Непостоянна ты во всем,

И постоянно ты прелестна.

К Креницыну. – Посвящено товарищу по Пажескому корпусу поэту Александру Николаевичу Креницыну (1801–1865), с которым Баратынский встретился в Петербурге осенью 1818 г. Креницын был близок со многими декабристами и, отличаясь «вольнодумством», принял в 1820 г. участие в корпусном бунте, за что его исключили из корпуса и разжаловали в рядовые.

Дельвигу («Так, любезный мой Гораций...»). – Адресовано близкому другу Баратынского поэту Антону Антоновичу Дельвигу (1798–1831), знакомство с которым состоялось в конце 1818 г. в Петербурге. В 1819 г. оба поэта поселились в одной квартире, о чем рассказывается в совместном стихотворении «Так, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...». Дельвиг ответил Баратынскому посланием «К Евгению». Он содействовал продвижению в печать первых стихотворений Баратынского. Особенно значительна роль Дельвига в побуждении Баратынского к

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru творчеству в печальный и критический момент его биографии. О громадном значении Дельвига в своей жизни Баратынский никогда не забывал. См. стихотворение «Дельвигу» («Дай руку мне, товарищ добрый мой...»).

Гораций Флакк Квинт (65–8 г. до н. э.) – крупнейший римский поэт; здесь: символ истинного поэта.

Вахтпарад – торжественная смена военного караула.

Развод – здесь: смена военного караула.

«Тебе на память в книге сей...» – По указанию племянника поэта С.А. Рачинского, адресовано смоленскому знакомому Баратынского Я. Шляхтинскому.

«Итак, мой милый, не шутя...» – Первоначальное заглавие «Брату при отъезде в армию». Посвящено брату поэта Ираклию Абрамовичу Баратынскому (1802–1859), служившему адъютантом И.Ф. Паскевича, а позднее – военным губернатором Казани в чине генерал-лейтенанта.

«Он близок, близок день свиданья...» – Первоначальное заглавие – «Элегия». В издании 1827 г. – «Ропот». По указанию С.А. Рачинского, обращено к В.Н. Кучиной. И не к лицу веселье мне... – В одном из писем Е.А. Баратынский писал: «На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость – усилие гордого ума, а не дитя сердца» Л.Г. Фризман привел следующую зарисовку известного журналиста и писателя О.И. Сенковского, знакомого Баратынского по Вольному обществу любителей российской словесности: «Мы помним Баратынского с 1821 г., когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...» (Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., 1981. С. 586).

«Поэт Писцов в стихах тяжеловат...» – В сборнике стихотворений 1827 г. напечатано с измененным первым стихом («Поэт Графов в стихах тяжеловат...»), ясно, намекающим на поэта графа Дмитрия Ивановича Хвостова (1757–1835). В поэме «Наука стихотворная» Хвостов вывел бездарного стихотворца Графова, чье имя было впоследствии переадресовано Пушкиным и другими поэтами самому автору. Ирония усилена каламбуром (граф – графоман).

«Расстались мы; на миг очарованьем...» – Печаталось под заглавиями «Элегия» и «Разлука». Обращено, по свидетельству С.А. Рачинского, к В.Н. Кучиной.

К Кюхельбекеру. – Написано перед отъездом или, по предложению А.М. Пескова, в день отъезда из Петербурга в Финляндию, куда Баратынский был переведен унтер-офицером в Нейшлотский пехотный полк. Обращено к поэту В.К. Кюхельбекеру (1797–1846), с которым Баратынский познакомился и сблизился в Петербурге в конце 1818 – начале 1819 г. Кюхельбекер ответил на послание двумя стихотворениями 1820 г. – «К Евгению» и «Поэты».

«Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой...» – Печаталось под заглавиями «Послание к барону Дельвигу» и «К Делию. Ода (с латинского)». Ответное послание А.А. Дельвига – «К Евгению» (1820).

К <рыло>ву («Любви веселый проповедник...»). – Адресовано поэту Александру Абрамовичу Крылову (1793–1829), автору нескольких любовных элегий, привлечших к себе внимание публики. Назон – Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. – ок. 18 г. н. э.) – знаменитый римский поэт, автор «Науки любви» и «Любовных элегий».

«Незнаю? Милая незнаю!» – Дважды напечатано под заглавием «К девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: «Не знаю»».

Финляндия. – Стихотворение снискало его автору громкую славу: Баратынского стали называть «певцом Финляндии». «Этот край, – писал впоследствии Баратынский Н.В. Путье, – был пестуном моей поэзии». Следуя поэтической традиции, Баратынский смешивает финскую мифологию со скандинавской. Финская природа воспринята в оссиановских тонах, и это сближает стихотворение Баратынского с элегией Батюшкова «На развалинах замка в Швеции».

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Отечество Одиновых детей – здесь: Финляндия (см. Словарь).

Скальд – древнескандинавский певец-поэт.

Воспламененный дуб угас. – По скандинавским ритуальным обычаям во время праздника зажигались дубы.

Дольный – здесь: земной.

«Твой детский вызов мне приятен...» – Первоначально печаталось под заглавием «Диде». По свидетельству С.А. Рачинского, обращено к финляндской знакомой поэта Елизавете Куприяновой.

«Живи смелей, товарищ мой...» – Печаталось под разными заглавиями: «К<онши>ну» и «Добрый совет К<онши>ну». Обращено к командиру роты Нейшлотского полка, близкому другу Баратынского, поэту Николаю Михайловичу Коншину (1794–1865). Ответное послание Н.М. Коншина – «Е.А. Баратынскому» («Поэт, твой дружественный глас...»). Н.М. Коншин оставил также воспоминания о Баратынском.

Молдаванка – здесь: молдавская женская куртка.

Анахорет – отшельник.

«Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...» – Адресовано поэту Николаю Михайловичу Коншину. Свидетельства Коншина в «Воспоминаниях» и рукописи «Для немногих» – почти единственный источник сведений о финляндской жизни Баратынского, в котором запечатлен его тогдашний духовный облик: «Тут небо послало мне товарища, доброго Баратынского. Первый раз в жизни я встретился с человеком, который характером и сердцем столько походил на меня. Я не хочу говорить много о его несчастье – потомство рассудило Овидия и Августа, но не Римлян; скажу только, что я не видал человека менее убитого своим положением; оно сделало его опытным, много выше его лет, а благодарная свобода, примета души возвышенной и гения – сама поставила его далеко выше толпы, его окружающей. Он был всеми любим, но казалось, и не замечал этого; равно как и своего несчастья. <...> Мы не столько любили один другого, сколько были нужны друг для друга. Мы проводили вместе дни, недели, месяцы и, наконец, целые четыре года».

«Пора покинуть, милый друг...» – Печаталось сначала под заглавием «К. Н. М.», а затем в составе раздела «Элегии» под заглавием «К...ну». Адресовано Н.М. Коншину. На стихотворение откликнулся А.С. Пушкин в послании Алексею и процитировал, переставив, две строки из Баратынского:

Как мой задумчивый проказник,

Как Баратынский я твержу:

«Нельзя ль найти подруги нежной?

Нельзя ль найти любви надежной?»

«Рассеивает грусть веселый шум пиров...» – Дважды печаталось под заглавием «Уныние».

«Шуми, шуми с крутой вершины...» – Первоначально печаталось под заглавием «Водопад». К.В. Пигарев предложил, что речь идет о водопаде Хэгфорс близ Кюмени, места службы Баратынского в Финляндии. Однако норвежский исследователь Гейр Хетсо связал стихотворение с переводом Нейшлотского полка в лагерь Вильманстранд, чем воспользовался Н.М. Коншин, показав Баратынскому известный водопад Иматру. В своих воспоминаниях Н.М. Коншин писал: «В Финляндии есть чудо: это водопад Иматра, река Вокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей пропастью, скрестя руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выразивших чувство, владевшее им на скалах Иматры: “Зачем с безумным ожиданием...” и след...». В главе «Поездка на Иматру» из воспоминаний А.П. Керн засвидетельствовано пребывание Баратынского на Иматре: «На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского». В стихотворении отразилось, по мнению исследователей творчества поэта, влияние элегии К.Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» и его же прозаического «Отрывка из писем Русского Офицера в Финляндии».

«Чувствительны мне дружеские пени...» – Печаталось под заглавиями «К***» и «Эпилог» (в качестве заключительного стихотворения раздела «Элегии» в издании 1827 г.). Пени – жалобы.

«Прощай, отчизна непогоды...» – Печаталось под заглавием «Отъезд» и входило в состав раздела «Элегии». Написано в связи с отпуском. Уезжая в Петербург, Баратынский, по словам Н.М. Коншина, был убежден, что не воротится в Финляндию, но его надежды не сбылись (ему удалось выйти в отставку лишь в 1825 г.).

«Я возвращаюсь к вам, поля моих отцов...» – Печаталось под заглавиями «Сельская элегия» и «Родина». По свидетельству жены поэта Н.Л. Боратынской, в элегии упоминается сельцо Подвойское Смоленской губернии (имение дяди поэта, Богдана Андреевича Боратынского). Однако К.В. Пигарев отнес описание к принадлежавшей отцу поэта, А.А. Боратынскому, усадьбе Мара Тамбовской губернии, родине Е.А. Баратынского (см.: «О дом отеческий!»).

Оратай – пахарь.

А ты, мой старый друг... – Имеется в виду воспитатель Баратынского итальянец Джачинто Богрезе (см. стихотворение «Дядьке итальянцу»), который в первой редакции стихотворения назван на русский лад именем Яков («Прилежный Яков мой!»).

Богиня пажитей признательной фортуны! – По мысли Баратынского, богиня плодородия Церера (см. Словарь) более справедливо воздаёт людям за их труды, чем непостоянная богиня судьбы, случая и удачи Фортуна (см. Словарь).

У берега насажу лесок уединенный... – Мечта Баратынского исполнилась много лет спустя (см. стихотворение «На посев леса»). «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...» – Печаталось под заглавиями «Делию. Ода (с латинского)» и «Дельвигу». Стихотворение было высоко оценено В.Г. Белинским и отмечено Л.Н. Толстым, который писал А.А. Фету: «Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих: “Любить и лелеять недуг бытия” стоит всех драм Толстого (А.К. Толстого. – В. К.)».

В альбом («Вы слишком многими любимы...»). – Первоначально посвящено Софье Дмитриевне Пономаревой (урожд. Позняк; 1794–1824), с которой Баратынский познакомился в 1820 г. и с 1821 г. стал посетителем ее салона. Позднее стихотворение переадресовано А.В. Лутковской и вписано в ее альбом. Адрес-календарь – здесь: список поклонников; ежегодный справочник учреждений и чиновников.

«Приманкой ласковых речей...» – Печаталось под заглавиями «Хлеб», «Климене», «К К...о». Возможно, адресовано С.Д. Пономаревой.

Больной. – Лила – условно-поэтическое имя.

«Когда б вы менее прекрасной...» – При жизни Баратынского не печаталось. Обращено к С.Д. Пономаревой. Цитерский бог – Эрот (см. Словарь: Цитера, Эрот).

«Один, и пасмурный душою...» – Печаталось под заглавиями «Бдение», «Тоска» и снова «Бдение». Петел – петух.

Песня («Страшно воеет, завывает...»). – Печаталось под заглавием «Русская песня».

«Нет, не бывать тому, что было прежде!..» – Печаталось вместе со стихотворением «Разуверение» под общим заглавием «Элегии».

Разуверение. – Входило в состав раздела «Элегии». По свидетельству С.А. Рачинского, обращено к В.Н. Кучиной. В.Г. Белинский назвал стихотворение в числе «особенно достойных памяти и внимания». На слова Баратынского написан знаменитый романс М.И. Глинки. Великая русская певица Н.А. Обухова, внучка Баратынского, писала в своей автобиографии: «А как хороши элегии Баратынского! Как они поэтичны, музыкальны! Не мудрено, что Глинке захотелось написать свой чудесный романс на слова деда “Не искушай меня без нужды”. Эта элегия Баратынского прекрасно сочетается с музыкой Глинки. Я всегда с особым чувством пою этот романс и предпочитаю вариант, написанный для сольного пения. Мне кажется, что,

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
когда исполняешь этот романс одна, больше выявляется смысл и глубина элегии». В душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь ты. – Эти строки – перевод из романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (см. Коровин В.И. «Две заметки о стихах Баратынского». Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В.Э. Вацура. М., 1996. С. 434).

«Чтоб очаровывать сердца...» – Печаталось под заглавиями «К***» и «К-ву. Ответ». Адресовано, как выяснил В.Э. Вацура, А.А. Крылову. (В.Э. Вацура. Из истории литературных полемик 1820-х годов. В кн.: Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972, с. 161–174.) в мае 1821 г., осуждая гедонистическую лирику, Крылов выступил в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств с резким стихотворным памфлетом «Вакхические поэты», направленным против своих бывших друзей – Дельвига и Баратынского. Этим выпадом и вызван иронический ответ Баратынского. В стихотворении Крылова острое критики нацелено на «низкую» тему вина и пиров, недостойную, по его мнению, истинной поэзии:

И поглотит река забвенья

Венец, обрызганный вином!

Баратынский в духе романтических представлений, разделяемых всем пушкинским кругом, отвергает идущее от классицизма неравенство «низких» и «высоких» лирических предметов, считая, что не тема сама по себе обуславливает достоинство художественного произведения, а проявленный в нем талант, что темы и жанры поэзии равноправны и любовно-элегическая лирика столь же достойна внимания поэта, как и героико-патетическая («вражда царей») и батальная («стук мечей»). В качестве доказательства Баратынский называет имена поэтов, которые «повстречали славу в Цитере», т. е. обессмертили себя в жанре любовной лирики.

Анакреон (ок. 570–478 гг. до н. э.) – древнегреческий лирик, в поэзии которого старческие мотивы сочетались с воспеванием жизненных удовольствий и радостей.

Амфора – в Древней Греции сосуд, предназначавшийся для хранения вин.

Эллада – Древняя Греция.

Фофанов – здесь: нарицательное имя бездарного поэта (от слова «фофан» – простофиля, глупец).

Парни Эварист Дезире де Форж (1753–1814) – французский поэт, родоначальник «легкой», эпикурейской и любовной (эротической) поэзии нового времени.

Хлоя, Дафна – условно-поэтические имена.

Тибуллова цевница – здесь в переносном значении: поэзия римского поэта-элегика Альбия Тибулла (ок. 50–19 гг. до н. э.), воспевавшего сельскую жизнь.

Омир – Гомер.

«Приятель строгий, ты не прав...» – Печаталось под заглавиями «Булгарину» и «К...». Стихотворение обращено к фаддею Бенедиктовичу Булгарину (1777–1859) и вызвано его нападками на молодых поэтов пушкинского круга, в том числе на Баратынского, которых он порицал за «легкий», эпикурейский дух поэзии, связывал его с вольнолюбием и нарушением «общественной нравственности». Стихотворение Баратынского написано еще в ту пору, когда отношения с Булгариним были вполне приятельскими. Переход Булгарина в стан противника Пушкина не укрылся от Баратынского, и с 1826 г. Булгарин стал объектом его эпиграмм. Эту перемену отметил и Булгарин. В рецензии на издание 1827 г. он писал, имея в виду и комментируемое стихотворение: «Из посланий лучшие к Н.И. Гнедичу, к Дельвигу и ко мне. Послание ко мне было напечатано в “Сыне Отечества” и перепечатано в “Образцовых сочинениях” с моим именем: “К Булгарину”; имя мое было даже в стихе. По переселении поэта в Москву он стал писать ко мне послания другого рода, а в прежнем имя мое заменено точками в заглавии, а в стихе с пожалован в Менторы. Пользуясь этим почетным званием, советую поэту более следовать внушению своего гения, нежели внушениям журнальных сыщиков. Это будет лучше и для него и для публики». В издании 1835 г. Баратынский, возможно, учел замечание Булгарина и вместо дружеского («Нет, нет, Булгарин! ты не прав») и явно критического («Нет, нет, мой ментор! ты не прав») дал нейтральное («Приятель строгий, ты не прав»), более соответствующее тому времени, когда было написано стихотворение.

Цветок. – Возможно, навеяно сентиментальными и романтическими балладами.
Людмила, Услад – условно-поэтические имена, обычно встречаемые в балладах.

«Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель...» – Печаталось под заглавием «Рим». Рим с детства интересовал Баратынского, воспитанного дядькой-итальянцем. «Судьба Рима как символ изменчивости исторической судьбы», по словам Л.Г. Фризмана, привлекала поэтов от Дю Белле до Байрона и была популярна как в вольнолюбивой, так и в медитативной лирике. (Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 579.)

Позорище – здесь: зрелище, вид.

Семь холмов – Капитолий, Палатин, Эсквилин, Авентин, Виминал, Целий, Квиринал; на них расположен Рим.
«Когда неопытен я был...» – Дважды выходило в печати под заглавием «Л<утковск>ой». Однако первоначальная редакция была посвящена С.Д. Пономаревой и вписана в ее альбом. Лишь затем стихотворение было переадресовано А.В. Лутковской.

«В своих стихах он скукой дышит...» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма». Направлено против поэта Дмитрия Ивановича Хвостова (1757–1835), имевшего привычку надоедать окружающим своими вслух читаемыми стихами.

«Неизвинительной ошибкой...» – Печаталось под заглавием «К жестокой». Обращено, по-видимому, к С.Д. Пономаревой.

«Дало две доли Провидение...» – Печаталось под заглавием «Стансы» и «Две доли». Часть – здесь: участь.

«О своенравная Аглая!» – Обращено к С.Д. Пономаревой и вписано в ее альбом. Печатается по изданию 1835 г.

«Я безрассуден – и не диво!» – Дважды печаталось под заглавием «Д<ельвиг>у». Обращено к А.А. Дельвигу. Пойду я странником тогда На край земли, туда, туда, Где вечный холод обитает... – пародийное использование романтического порыва «Dachin, dachin...» («Туда, туда...») в знаменитой песне Миньоны («Kennst du das Land...» – «Знаешь ли ты край...») из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

«Мне с упоением заметным...» – Печаталось под заглавием «К...». Предположительный адресат – С.Д. Пономарева. Меж мудрецами был чудак: «Я мыслю, – пишет он, – итак, Я, несомненно, существую». – Речь идет о французском философе Рене Декарте (1596–1650), которому принадлежит афоризм: «Cogito, ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую»).

«Вчера ненастливая ночь...» – Печаталось под заглавием «Случай». Лилета – условно-поэтическое, иронически противопоставленное обыкновенно-житейскому и обиходно-русскому «Паша».

Элизийские поля. – Печаталось под заглавием «Елисейские поля». Входило в раздел «Элегии». Как указано исследователями (В.Э. Вацуро, В.А. Мильчиной, И.А. Пильщиковым), в стихотворении использованы образы из стихотворения Э. Парни «Le Revenant» («Привидение»), в 1810 г. переведенного К.Н. Батюшковым. (Французская элегия. XVIII–XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 612., И.А. Пильщиков. Lesjardin de Lila в переводе Воейкова И. Воспоминания. Баратынский В кн.: Латмановский сборник. М., 1995. С. 365–374. Philologica. 1999/2000. м., 2001. т. 6. № 14/16. С. 386.)

Темира – условно-поэтическое имя.

Закоцитная сторона – царство мертвых (см. Словарь: Коцит).

Катулл Гай Валерий (ок. 87 – ок. 54 гг. до н. э.) – римский поэт-лирик.
«Так, отставного шалуна...» – Печаталось под заглавием «Товарищам».

Дельвигу. – Печаталось под заглавием «К Дельвигу». Ты помнишь ли, в какой печальный срок... – Знакомство Баратынского с Дельвигом произошло в то время, когда Баратынский решил вступить в военную службу рядовым.

«Любви приметы...» – Дважды печаталось под заглавием «Догадка».

«Сей поцелуй, дарованный тобой...» – Дважды печаталось под заглавием «Поцелуй (Дориде)» и входило в раздел «Элегии».

«На кровы ближнего селенья...» – Дважды печаталось под заглавием «Возвращение» и один раз под заголовком «Подражание Мильвуа». Вольное переложение элегии «Le Retour» («Возвращение») французского поэта Шарля Юбера Мильвуа (1782–1816), автора популярных в начале XIX в. элегий и теоретика поэзии. Античного Амура Баратынский заменил славянским божеством Лелем.

«Зачем, о Делия! сердца молодые ты...» – Печаталось под заглавиями «Дориде» и «Делия», входило в раздел «Элегии». Относится, по-видимому, к С.Д. Пономаревой.

Бесчарная Цирцея – лишённая в старости обольстительных любовных чар и потерявшая способность губить мужские сердца (см. Словарь).

Крылатое дитя – Амур (см. Словарь).

Размолвка. – Входило в раздел «Элегии». Связано с разладом отношений с С.Д. Пономаревой.

«На звук цевницы голосистой...» – Дважды печаталось под заглавием «Весна».

Цевница – здесь: свирель; духовой музыкальный инструмент; символ поэзии, поэтического дара.

Климена – условно-поэтическое имя.

Сестре. – Обращено к сестре поэта Софье Абрамовне Боратынской (1801–1844) по поводу ее приезда в Петербург из Мары летом 1822 г. для свидания с братом.

«Младые грации сплели тебе венки...» – При жизни Баратынского не печаталось. Возможно, обращено к А.В. Лутковской, поскольку автограф вписан в ее альбом.

Падение листьев. – Печаталось с подзаголовком (в оглавлении) «Подражание Мильвуа», входило в раздел «Элегии». Вольный перевод известной и не раз переведенной русскими поэтами элегии Мильвуа «La chute des feuilles». Баратынский изменил мысль элегии: у Мильвуа с неизбежной кончиной связано и столь же неизбежное забвение, у Баратынского на могилу молодого певца не приходит дева, но приходит безутешная мать. На берегах Стигийских вод – см. Словарь: Стикс.

Лета. – Печаталось под заглавиями «К Лете», «Лета» с подзаголовком в оглавлении «Подражание Мильвуа», входило в раздел «Элегии». Вольный перевод элегии Мильвуа «Le fleuve d'oubli» («Река забвенья»).

Г<неди>чу. – Печаталось под заглавием «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры», и входило в раздел «Послания». Обращено к поэту и переводчику «Илиады» Николаю Ивановичу Гнедичу (1784–1833), который на заседании Вольного общества любителей российской словесности выступил 13 июня 1821 г. с программной речью в защиту высокого гражданского служения искусства, призывая «владеть с честью пером», в защиту сатиры, которая «сражается» с «невежеством наглым, пороком могущим», обличая общественные язвы и тем исправляя людские нравы. Баратынский решительно отклонил программу Гнедича, считая, что искусство не может излечить общество. В первой редакции он подробно изъяснял свою позицию, перечисляя невыгодные для поэта следствия программы Гнедича. В качестве очевидных примеров он привел имена поэтов, которые превращали высокую сатиру в низкое ругательство:

Признаться, в день сто раз бываю я готов

Немного пострадать Парнасских чудаков,

Сказать хоть на ухо фанатикам журнальным:

Срамите вы себя ругательством нахальным.

Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд

и травлей авторской смешить гостиный ряд?
Россия в тишине, а с шумом непристойным
Воюет Инвалид с Архивом беспокойным;
Сказать Панаеву: не музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Измайлову: болтун еженедельный,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной,
И в нем ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,
и пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключив торжественный союз,
Несут к тебе плоды своих лакейских муз...

Всем названным поэтам (В.И. Панаеву, А.Е. Измайлову, Н.А. Цертелеву, Б.М. Федорову и др.) противопоставлен «мудрец прямой»:

Нет, нет! мудрец прямой идет путем иным.
И, сострадательный ко слабостям людским,
На них указывать не станет он лукаво!
О человечестве судить желая здраво,
Он страсти подавил, лишаящие нас
Столь нужной верности и разума, и глаз.
В сообщество людей вступивший безусловно,
На их дурачества он смотрит хладнокровно,
Не мысля, чтоб могли кудрявые слова
В них свойства изменить и силу естества.
Из нас, я думаю, не скажет ни единой
Осине: дубом будь, иль дубу: будь осиною;
Зачем же: будь умен он вымолвит глупцу?
Покой, один покой любезен мудрецу.
Не споря без толку с чужим нелепым толком.
Один по-своему он мыслит тихомолком;
Вдали от авторов, злодеев и глупцов.
Мудрец в своем углу не пишет и стихов.

Позиция Баратынского, выраженная в опубликованной, хотя и иной, но тоже ранней редакции стихотворения, не удовлетворила Пушкина, отметившего «прекрасные

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru стихи», но недовольного мягкостью («мало перца») выражений на слишком узкие и односторонние требования Гнедича. Впоследствии Баратынский исключил упоминания поэтов и придал стихотворению более обобщающий смысл: оно стало скептическим размышлением о бесплезности сатиры и всякого намерения «переиначить свет», в нем резче обозначилась задача философско-психологического постижения жизни.

..редкий муж, вельможа-гражданин, От века сих вельмож оставшийся один... – Имеется в виду Николай Семенович Мордвинов (1754–1845), либеральный государственный деятель, ценимый просвещенными дворянами и, в частности, декабристами. Адмирал Мордвинов начал свою карьеру во времена Екатерины II (в одном из вариантов – «От дней Фелицыных», по имени Фелицы в оде Г. Р. Державина). В последние годы александровского царствования Мордвинов находился в оппозиции к правительственной политике и заслужил репутацию просвещенного и независимого государственного деятеля («гражданина»).

Катоном смотрит он... – т. е. неподкупным вольнолюбом (по имени Катона Младшего, или Утического, римского республиканца, врага Цезаря; 95–46 гг. до н. э.). «Желанье счастья в меня вдохнули боги...». – Дважды печаталось под заглавием «Безнадежность».

«Притворной нежности не требуй от меня...». – Первоначально напечатано в иной редакции, которая приводится полностью ввиду ее самостоятельного художественного значения. Признание

Притворной нежности не требуй от меня,

Я сердца моего не скрою хлад печальной:

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня

Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил

И милый образ твой, и прежних лет мечтанье, –

Безжизненны мои воспоминанья!

Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Спокойна будь: я не пленен другою;

Душой моей досель владела ты одна;

Но тенью легкою прошла моя весна:

Под бременем забот я изнемог душою,

Утихнуло волнение страстей,

Промчались дни; без пищи сам собою

Огонь любви погас в душе моей.

Верь, беден я один: любви я знаю цену,

Но сердцем жить не буду вновь,

Вновь не забудусь я! Изменой за измену

Мстит оскорбленная любовь.

Предательства верней узнав науку.

Служа приличию, фортуне иль судьбе,

Подругу некогда я выберу себе

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
и без любви решусь отдать ей руку.

В сияющий и полный ликов храм,
Обычаю бесчувственно послушный,
Введу ее, и деве простодушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам..
И весть к тебе придет; но не завидуи нам:
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы воли не дадим,
Мы не сердца Гимена связью холодной, –
Мы жребии свои соединим.
Прости, забудь меня; мы вместе шли донине;
Путь новый избрал я; путь новый избери,
Печаль бесплодную рассудком усмири,
Как я, безропотно покорствуя судьбине.
Не властны мы в самих себе
И слишком ветрено в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Именно по поводу этого текста элегии Пушкин писал: «Баратынский – прелесть и чудо, “Признание” – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий».

Н.И. Гнедичу. – Входило в раздел «Послания». Адресовано поэту Н.И. Гнедичу. Баратынский познакомился с Гнедичем в 1820 г. и считал его своим наставником в поэзии, хотя и не во всем с ним соглашался. Гнедич принимал участие в судьбе Баратынского. Именно он представил в Вольном обществе любителей российской словесности поэму Баратынского «Пиры».

Аристипп (435–360 гг. до н. э.) – древнегреческий философ; здесь: мудрец, свободный духом.

Русские Афины – здесь: Петербург как центр культуры России.

Фрина (IV в. до н. э.) – знаменитая древнегреческая гетера, возлюбленная мудрого афинского стратега Перикла.

Апелл (Апеллес; IV в. до н. э.) – древнегреческий живописец.

Фидий (V в. до н. э.) – древнегреческий скульптор.
Лутковскому. – Печаталось под заглавиями «К...» и «Лутковско>му», входило в раздел «Послания». Посвящено командиру Нейшлотского полка, участнику Отечественной войны 1812 г. Егору (Георгию) Алексеевичу Лутковскому (ум. в 1831 г.), давнему знакомому семьи Боратынских и дальнему их родственнику, принявшему живое участие в судьбе поэта.

А Епендорфские трофеи? – Лутковский, вероятно, рассказывал о сражении под селением Эпендорф в Саксонии (1813).

Веселый сын Цитереи – Эрот (см. Словарь).
«О счастья с младенчества тоскуя...» – Печаталось под заглавиями «Истина. Ода» и

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
«Истина», входило в раздел «Элегии». Стихотворение получило признание критики. П.А. Плетнев назвал его «в некотором смысле драмой, где действует сам поэт, его жизнь и наставница их – Истина». В.Г. Белинский, считая стихотворение «одним из замечательных», также отметил его драматизм: проявление «несчастливого раздора мысли с чувством, истины с верованием».

«Взгляни на звезды: много звезд...» – Печаталось под заглавиями «Звездочка» и «Звезда».

Богдановичу. – Входило в раздел «Послания». Форма послания к умершему поэту Ипполиту Федоровичу Богдановичу (1743–1803), автору знаменитой шутивно-иронической поэмы «Душенька», определена традицией. Стихотворение получило разноречивые отклики: одни современники поэта (А.И. Тургенев) называли его «прекрасным посланием», другие (А.А. Дельвиг), П.А. Вяземский, В.И. Туманский, позднее В.Г. Белинский) оценили его в целом отрицательно. А.А. Дельвиг полагал, например, что послание написано в старомодной манере. Он сообщил А.С. Пушкину: «“Послание к Богдановичу” исполнено красотами, но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где. Что делать? Что пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком». Возможно, противоречивость оценок связана с тем, что стихотворение отражает перелом в творческом развитии Баратынского. С одной стороны, поэт неудовлетворен унылыми элегиями русских романтиков, в том числе и собственными (существует предположение, что именно послание «Богдановичу» он имел в виду, когда писал А.С. Пушкину: «Я... в одной не напечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно “Выть жеманное поэтов наших лет”»). В этом Баратынский сближался с Пушкиным и поэтами его круга. С другой стороны, он выдерживает послание в духе, как отметил Дельвиг, правил французского классицизма. Кроме того, с одной стороны, ему претит зависимость от «торговой логики», и в этом отношении он также солидарен с Пушкиным и его друзьями. Но, с другой стороны, отстаивая независимость писателя от торговцев-издателей, неожиданно одобряет его зависимость от меценатов, против чего резко высказывались декабристы, Пушкин и другие литераторы.

Жуковский виноват; он первый между нами Вошел в содружество с германскими певцами... – Баратынский присоединился к мнению В.К. Кюхельбекера, который в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) резко отрицательно отзывался о поэзии Жуковского и ее роли в развитии русской поэзии.

Кто «Душеньку» твою всех прежде оценил?.. – По словам Н.М. Карамзина, Екатерина II «читала “Душеньку” с удовольствием и сказала о том сочинителю; что могло быть для него лестнее? Знатные и придворные, всегда ревностные подражатели государей, старались изъявить ему знаки своего уважения и твердили наизусть места, замеченные монархинею».

О наших судиях не смею молвить слова... – С резким возмущением Баратынский писал поэту И.И. Козлову: «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь!.. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом».

Избрать в советники кота и петуха... – «Богданович, – писал К.Н. Батюшков в статье «Нечто о Поэте и Поэзии», – жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину».

Недавно от него товарищ твой Назон Посланье получил... – Имеется в виду послание Пушкина «К Овидию», написанное в 1821 г.

Назон Публий Овидий (43 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский поэт.
«Очарованье красоты...» – Первоначально опубликовано под заглавием «А.А. В<оейков>ой». Обращено к Александре Андреевне Воейковой (урожд. Протасова; 1795–1829), жене поэта и журналиста А.Ф. Воейкова, племяннице В.А. Жуковского, посвятившего ей балладу «Светлана». Известна еще одна редакция стихотворения:

Очарованье красоты

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Твоей во благо нам;

Не будишь нас, как солнце, ты

К мятежным суетам;

От дольной жизни, как луна,

Манишь за край земной,

С тобой, как ты, душа полна

Высокой тишиной.

Леда. – Вольный перевод одноименного стихотворения Парни. Евротейский древний ток... – Имеется в виду Еврот, река в Спарте, на юге Пелопоннеского полуострова.

«Завыла буря; хлябь морская...» – Дважды печаталось под заглавием «Буря» и входило в раздел «Элегии». При первой публикации (1825) стихотворение встретило цензурные препятствия, о чем Баратынский писал своему другу, позднее родственнику Н.В. Путяте (1802–1877): «Леда моя публично целуется со своим лебедем. А буре шуметь не позволено. Неисповедимы пути твои, о цензура русская!» В издании 1835 г. стихи 11–20 были запрещены цензурой и заменены точками. Стих 21 в автографе читался: «Иль вечным будет заточенье?» Одни комментаторы предполагают, что в стихотворении отразились впечатления от морских бурь в Финском заливе во время знаменитого ноябрьского наводнения 1824 г., другие, ссылаясь на мнение Н.В. Путяты, более определенно говорят о впечатлениях во время того же наводнения в Петербурге.

«Рука с рукой Веселье, Горе...» – Дважды печаталось под заглавием «Веселье и Горе». По теме сходно со стихотворением Мильвуа «Plaisir et peine» («Удовольствие и печаль»).

«Как много ты в немного дней...» – Стихотворение встретило цензурные возражения. В издании 1827 г. напечатано с цензурной заменой двух последних стихов:

Как покаянье плачешь ты

И как безумье ты хохочешь.

В издании 1835 г. восьмой стих заменен точками, а последний напечатан, как в тексте. Цензура сочла «неприличным» «сравнение развратной женщины со святою Магдолиною». Баратынский, как явствует из его письма В.В. Измайлову, предложил замену: «Что же касается до имени Магдалины, которое пугает цензуру, я решил заменить его словом: богомолка, хотя эта перемена портит всю пьесу». Однако цензура не согласилась, по-видимому, и на эту переправку. Обращено к Аграфене Федоровне Закревской, урожденной графине Толстой (1799–1879), жене финляндского генерал-губернатора А.А. Закревского. Баратынский познакомился с ней в конце 1824 г. в Гельсингфорсе и, по словам Н.В. Путяты, «попал в ее волшебные сети». В письмах он часто называл ее Магдалиной. Закревская отличалась красотой и с вызывающей свободой держалась в свете. Ее характер интересовал Пушкина, назвавшего Закревскую «беззаконной кометой» и «Клеопатрой Невы». Под именем Нины она вошла героиней в поэму Баратынского «Бал».

«Отчизны враг, слуга царя...» – При жизни Баратынского эпиграмма не печаталась. Направлена против Алексея Андреевича Аракчеева (1769–1834), временщика при Павле I и Александре I. Скрываясь от очей... – Намек на уединение Аракчеева в своем поместье Грузино, Новгородской губернии.

«Взгляни на лик холодный сей...» – Печаталось под заглавием «Надпись».

«Решительно печальных строк моих...» – Дважды печаталось под заголовком «Оправдание» и входило в раздел «Элегии». Одна из самых знаменитых элегий Баратынского, восторженно оцененная Пушкиным.

Из-за угла пафосских пилигримок... – Речь идет о женщинах легкого поведения.

Пафосские пилигримки – жрицы любви (см. Словарь: Пафос).

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Череп. – Печаталось под заглавием «Могила» и входило в раздел «Элегии». Современная поэту критика связывала тему стихотворения с «Чайльд-Гарольдом» (V–VII строфы 2-й песни) Байрона и его же «Надписью на кубке из черепа» («Lines inscribed upon a cup formed from a skull»). П.А. Плетнев, касаясь этой темы, писал, что «подобный предмет есть в стихотворениях знаменитого Байрона. Мы из любопытства сравнивали эти два произведения. Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины». Пушкин, соотнеся стихотворение с размышлениями Гамлета над черепом бедного йорика в «Гамлете» (1-я сцена V акта) Шекспира, в послании Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг...») писал о «Гамлете– Баратынском».

«Мы пьем в любви отраву сладкую...» – Печаталось под заглавиями «Сонет» и «Любовь».

Авроре Шернваль. – Дважды печаталось под заглавием «Девушке, имя которой было Аврора». Существует предположение, что стихотворение было первоначально написано по-французски и только потом переведено на русский язык. Обращено к Авроре Карловне Шернваль (1808–1902; в первом браке – за П.Н. Демидовым, во втором – за Андр. Н. Карамзиным), дочери Выборгского губернатора. Сестре А.К. Шернваль, графине Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной, посвятил стихотворение М.Ю. Лермонтов. Соименница зари – см. Словарь: Аврора.

«Когда взойдет денница золотая...» – Печаталось под заглавием «Песня».

«Идиллик новый на искус...» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма». Направлена, по-видимому, против Владимира Ивановича Панаева (1792–1859), поэта-идиллика, враждебно относившегося к поэтам пушкинского круга.

«Войной журнальной бесчестит без причины...» – Экспромт направлен против П.А. Вяземского, который активно участвовал в литературных полемиках 1820-х годов. Тогда же, в мае 1825 г., до Вяземского дошли слова из апрельского письма Баратынского к И.И. Козлову: «Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне». Подобные упреки Вяземский слышал не только от Баратынского, но и от Пушкина, который писал ему: «Бранюсь с тобою за одно послание к Каченовскому; как мог ты сойти в арену вместе с этим хилым кулачным бойцом – ты сбил его с ног, но он облил бесславный твой венок кровью, желчью и сивухой...» Комментируемая эпиграмма была написана до личного знакомства Баратынского с Вяземским. В конце 1825 г. они подружились, а впоследствии Баратынский посвятил Вяземскому сборник «Сумерки». Сам Вяземский вспоминал: «Баратынский говаривал мне, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачные бои».

«В глуши лесов счастлив один...» – Дважды печаталось под заглавием «Стансы». В первой публикации тексту предшествовало еще 24 стиха:

О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги ни во власти, –
Никто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,
Когда господствуют оне.
Ко счастью способов одних
Для счастья истинного мало;
Употреблять с умением их
Еще бы людям надлежало;
И не на то ль своим Творцом

Одарены они умом?

А мы, мы ум свой обрекли

Господству детских своенравий!

Достиг владычества земли

Счастливец ветренный Октавий;

Достиг, и что ж? – всемирный трон

Покинуть замышляет он.

Все суета! Мудрец прямой

Далекий благ не жаждет праздно.

Но дух воспитывает свой

Случайной доле сообразно;

Для счастья надобное в ней

Дарует он душе своей.

Эпикур (341–270 гг. до н. э.) – греческий философ, учивший, что счастье состоит в наслаждении, достигаемом возвышенными чувствами и умственными интересами; впоследствии учение Эпикура вульгаризировали и превратили философа в проповедника чувственных удовольствий (эпикуреизм); в этом смысле имя Эпикура употреблено в стихотворении Баратынского. Эпиктет (ок. 50 – ок. 138) – греческий философ-стоик, считавший, что, примиряясь со своей судьбой, человек отвергает внешние условия и достигает внутренней свободы, а следовательно, счастья.

К Д<ельвигу>. На другой день после его женитьбы. – Печаталось под заглавием «В альбом NN на другой день его свадьбы». Свадьба Дельвига с Софьей Михайловной Салтыковой (1806–1888) состоялась 30 октября 1825 г.

«В дорогу жизни снаряжая...» – Печаталось под заглавием «Дорога жизни». Стихотворение было переведено Баратынским на французский язык под заглавием «Le Frais de Route» («Путевые расходы»).

Годы почтовые – метафора, основанная на сравнении жизни с передвижением на почтовых лошадях от станции к станции (от корчмы к корчме).

Прогоны – плата за проезд на перекладных.

«В борьбе с тяжелою судьбой...» – Печаталось под заглавиями «К***. Посылая тетрадь стихов» и «К... при посылке тетради стихов». Адресовано А.Ф. Закревской.

Д. Давыдову. – Печаталось под заглавием «Д.В. Давыдову» и входило в раздел «Послания». Обращено к Денису Васильевичу Давыдову (1784–1839), поэту-гусару, герою Отечественной войны 1812 г. Знакомство Баратынского с Давыдовым состоялось летом 1825 г., и затем их дружба упрочилась после женитьбы (9 июня 1826 г.) Баратынского на А.Л. Энгельгардт, родственнице Давыдова. Давыдов хлопотал о производстве Баратынского в офицеры и дважды обращался к А.А. Закревскому с личным ручательством за поэта. Об обстоятельствах создания стихотворения известно из письма Н.А. Муханова брату, А.А. Муханову: «4-го дня вечером приехал ко мне Денис Васильевич и Баратынский, которые просидели весь вечер; ты не можешь себе представить, как первый был хорош. На другой день Баратынский прислал мне к нему послание: когда оно будет исправлено от погрешностей, вкравшихся от поспешности, я тебе перешлю его». В народе славной бородой! – В 1812 г., будучи партизаном, Давыдов носил бороду.

«Она придет! к ее устам...» – Дважды печаталось с заглавием «Ожидание» и один раз было снабжено подзаголовком (в оглавлении) «Подражание Парни». Стихотворение – перевод элегии Парни «Reflexion amoureuse» («Любовное размышление»).

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
«Простите, спорю невольно...» – Адресовано П.А. Вяземскому.

«В своих листах душонкой ты кривишь...» – Адресат эпиграммы – Ф.В. Булгарин, редактор газеты «Северная Пчела», журнал «Северный Архив» и приложения к нему «Литературные листки».

«Не трогайте Парнасского пера...» – Печаталось под заглавиями «Совет» и «Эпиграмма». В письме к Н.В. Путяте Баратынский адресовал стихотворение как эпиграмму «на поэтов прекрасного пола». В эпиграмме использованы образы из стихотворения «Мое последнее слово о женщинах-поэтах». Его автор – французский поэт Понс Дени Экушар Лебрэн (1729–1807). См. Коровин В.И. «Две заметки о Баратынском». Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В.Э. Вацура. М., 1995. С. 436–440.

«Поверь, мой милый! твой поэт...» – Дважды печаталось под заглавием «Л.С. П<ушки>ну» и входило в раздел «Элегии». Обращено ко Льву Сергеевичу Пушкину (1805–1852), младшему брату А.С. Пушкина. В середине 1820-х годов Баратынский и Л.С. Пушкин встречались в салоне А.А. Воейковой, которой оба были увлечены. Этими обстоятельствами объясняется возникновение стихотворения, а также его содержание.

«Есть грот: наяда там в полдневные часы...» – Печаталось под заглавием «Наяда» и с подзаголовком (в оглавлении) «Подражание Шенье». Вольный и сокращенный перевод «Fragment d'idylies» («Je sais, quand le midi leur fait desirer l'ombre...») – «Я рад, когда в самый полдень нахожу желанную тень...») французского поэта Андре Шенье (1762–1794).

«Ты ропщешь, важный журналист...» – Дважды печаталось под заглавием «Эпиграмма». Направлено против Михаила Трофимовича Каченовского (1775–1842), издателя журнала «Вестник Европы», который высмеивал Баратынского и поэтов пушкинского круга, нападая на элегическое направление в русской поэзии.

«Окогченная летунья...» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма».

«Не бойся едких осуждений...» – Печаталось под заглавиями «А. Н. М.» и «А.Н. М.....у». Адресат точно неизвестен. Высказывались предположения, что имелись в виду А.Н. Муравьев, А.С. Пушкин и А. Мицкевич. В.М. Сергеев пришел к выводу, что стихотворение не имеет «определенного адреса». В таком случае литеры «А. Н. М.» можно расшифровать как составляющие слово АНОНИМ.

«Перелетай к веселью от веселья...» – Печаталось под заглавиями «Эпиграмма» и «В альбом». По свидетельству С.А. Рачинского, обращено к финляндской знакомой Баратынского Елизавете Куприяновой. Коринна – героиня французской писательницы Жермены де Сталь «Коринна, или Италия»; здесь: разносторонне одаренная женщина.

Эпиграмма («Свои стишки Тоцев-пиит...»). – Направлена, по-видимому, на поэта Александра Ардалионовича Шишкова (1799–1832), выпустившего сборник «Восточная лютня», который, по мнению Н.А. Полевого, отличался «неслыханным подражанием Пушкину».

«Как сладить с глупостью глупца?..» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма».

Она. – Обращено, по-видимому, к Анастасии (Настасье) Львовне Энгельгардт (1804–1860), невесте Баратынского, на которой он женился 9 июня 1826 г. В письме к А.С. Пушкину Вяземский отозвался о ней как о «девушке любящей, умной и доброй, но не элегической по наружности».

«Судьбой наложенные цепи...» – Печаталось под заглавием «Стансы». Весной 1827 г. Баратынский вместе с женой и новорожденной дочерью посетил родовое имение Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Судьбой наложенные цепи – пребывание в Финляндии на положении рядового.

Я братьев знал... – Речь идет о декабристах: казненном К.Ф. Рылееве и ссыльных В.К. Кюхельбекере и А.А. Бестужева.

Далече бедствуют иные, и в мире нет уже других. – Перифраз пушкинского эпиграфа

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru к поэме «Бахчисарайский фонтан», восходящего к персидскому поэту Саади; как впоследствии и у Пушкина (последняя строфа «Евгения Онегина»), намек на происшедшие исторические события.

Последняя смерть. – Программное стихотворение Баратынского, обозначившее поворот в творческом развитии поэта и заслужившее признание современников. В.Г. Белинский назвал «Последнюю смерть» «апофеозой всей поэзии г. Баратынского». Современники полагали также, что стихотворение – отрывок из неосуществленной поэмы. Позор – здесь: зрелище.

«Прости, мой милый! так создать...» – Адресовано Николаю Васильевичу Путяте.

«Нет, обманула вас молва...» – Печаталось под заглавием «Уверение». М.Л. Гофман высказал предположение, что посвящено А.Ф. Закревской.

Из А. Шенье. – Печаталось под заглавием «Смерть. Подражание А. Шенье». Сокращенный перевод XXXVI элегии «O necessite dure! O pesant esclavage!» (в переводе Е.П. Гречаной: «О, жалкая судьба! о, тяжесть несвободы!». Баратынский перевел ту ее часть, которую процитировал французский писатель Р. Шатобриан в своей книге «Гений христианства». Совокупность изменений позволила Баратынскому, полагает Л.Г. Фризман, полнее и глубже выразить «мироощущение человека романтической эпохи». (Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., 1982.)

«Люблю деревню я и лето...» – Печаталось под заглавием «Деревня».

«Как ревностно ты сам себя дурачишь!» – Печаталось вместе с другими под общим названием «Антологические стихотворения». Эпитимья – церковное наказание.

«Мой дар убог, и голос мой не громок...» – Печаталось вместе с другими под общим названием «Антологические стихотворения».

«Глупцы не чужды вдохновенья...» – Печаталось вместе с другими под общим названием «Антологические стихотворения».

«Старательно мы наблюдаем свет...» – Печаталось вместе с другими под общим названием «Антологические стихотворения». Под заглавием «La sagesse des Nations» («Народная мудрость») переведено автором на французский язык. Точный смысл народной поговорки. – По-видимому, имеется в виду поговорка: «Век живи, век учись, а дураком умрешь».

«Не подражай: своеобразен гений...» – Опубликовано вместе с четырьмя другими стихотворениями под общим названием «Антологические стихотворения». Обращено к польскому поэту Адаму Мицкевичу (1798–1855), с которым Баратынский познакомился в середине 1820-х годов.

Доратов ли, Шекспиров ли двойник... – Кто имеется в виду под фамилией Дорат, точно не установлено; одни комментаторы полагают, что речь идет о французском поэте, современнике Шекспира, Жане Дорате (1508–1588), другие называют имя Клода Жозефа Дора (1734–1780).

С Израилем певцу один закон: Да не творит себе кумира он! – Имеется в виду заповедь «Не сотвори себе кумира», данная Богом народу Израиля (Библия, Исход, 20,4).

Когда тебя, Мицкевич вдохновенный. Я застаю у Байроновых ног... – В 1828 г. вышла поэма А. Мицкевича «Конрад Валленрод», отмеченная сильным влиянием Байрона; выходом поэмы и вызвана эпиграмма Баратынского.

«Порою ласковую фею...» – Печаталось под заглавием «Фея». Баратынский просил издателя альманаха «Царское Село на 1830 год» Н.М. Коншина не забыть о поставленной поэтом под стихотворением дате: «Под стихотворением моим “Фея” выставлен год; не забудь его напечатать в твоём альманахе – это мне нужно». На этом основании исследователи приходят к выводу, что Баратынский сознательно поместил под стихотворением неверную дату (1824), опасаясь бросить тень на свою семейную жизнь.

«Тебя из тьмы не изведу я...» – Печаталось под заглавием «Смерть». Первопечатная редакция, приведенная ниже, имеет самостоятельное художественное значение.

Смерть

О смерть! твое именованье
Нам в суеверную боязнь:
Ты в нашей мысли тьмы созданье,
Паденьем вызванная казнь!
Непонимаемая светом,
Рисуешься в его глазах
Ты отвратительным скелетом
С косою уродливой в руках.
Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса:
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое хранение всемогущий
Его устройство поручил.
И ты летаешь над созданием,
Забвенью бед везде лия
И прохлаждающим дыханием
Смирять буйство бытия.
Ты фивских братьев примирила,
Ты в неумеренной крови
Безумной Федры погасила
Огонь мучительной любви...
Ты предстаешь, святая дева! –
И с остывающих ланит
Бегут мгновенно пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
И краски жизни беспокойной,
С их невоздержной пестротой,
Вдруг заменяются пристойной,
Однообразной белизной.
Дружится краткою тобою
Людей недружная судьба,

Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоуменье, принуждение,
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

Стихотворение подверглось обсуждению в пушкинском кругу. П.А. Вяземский писал жене 19 декабря 1828 г.: «Твоя критика на Баратынского слишком христианская, а в его стихах нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими глазами. И потому примеры, приведенные им, не должны казаться неуместными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух страстей: ненависти и любви испуганной... Впрочем, чтоб потешить тебя, скажу, что Пушкин с тобой согласен.

Я вчера говорил ему и Баратынскому о твоём замечании, мы были одного мнения, а он твоего. Какое же хочешь слово другое, а не пестрота, когда говорится о краске жизни беспокойной, *s'est mot propre* (это слово точное. – В. К.), и тем слово и разительно, а с прилагательным невоздержной оно полно поэзии». Л.Н. Толстой, включивший стихотворение в свой «Круг чтения», напротив, говорил, что у Баратынского «отношение к смерти правильное и христианское».

Прям – дательный падеж от слова пря (распря, спор).
«Слышал я, добрые друзья...» – Печаталось под заглавием «Бесенок». Баратынский писал Дельвигу, сообщая о написанном стихотворении: «...ежели незатейливое творение, то заглавие зазорно». Кому душою поклонился За деньги старый Громобой...
– В балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев» Громобой продал душу дьяволу Асмодею.

При посылке «Бала» С. Энгельгардт. – Написано на экземпляре отдельного издания поэмы «Бал» и адресовано Софье Львовне Энгельгардт (1811–1884), свояченице (сестре жены) Баратынского и с 1837 г. жене его друга Н.В. Путяты.

«По замечанью моему...» – Печаталось под заглавием «В альбом» и находилось в альбоме поэтессы Каролины Карловны Павловой, урожденной Яниш (1807–1894). По-видимому, к ней и обращено. К.К. Павлова считала Баратынского своим «крестным отцом» в поэзии и переводила его стихотворения на немецкий язык.

К<нягине> ЗА. Волконской. – Печаталось под заглавием «Княгине З.А. Волконской на отъезд ее в Италию». Зинаида Александровна Волконская, урожденная Белосельская-Белозерская (1792–1862), – блестящая красавица, поэтесса, певица и композитор. В 1829 г. уехала в Италию, где перешла в католичество и, как оказалось, навсегда рассталась с Россией.

Под Авзонийский недосклон... – т. е. в Италию, которую в древности часто называли Авзонией.

Октавы Тассовы звучат... – Имеется в виду поэма «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595), написанная октавами.

Рафаэль – итальянский живописец Рафаэль Санти (1483–1520).

Капитолий – холм с храмом Юпитера (один из семи, на которых стоит Рим), центр политической и культурной жизни Древнего Рима.

Капитолий Коринны – здесь: салон, общество высокоодаренной женщины; Волконскую именовали «Северной Коринной».
«Хвала, маститый наш Зоил!» – Печаталось под заглавием «Историческая Ешграмма». Направлена против М.Т. Каченовского, в журнале которого «Вестник Европы» буквы «У» и «І» печатались в словах греческого происхождения. В первопечатной редакции Баратынский воспользовался этой странностью М.Т. Каченовского и опубликовал по принятой им орфографии всю эпиграмму. Тем самым он сразу указал на адресата и

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru высмеял его устаревшие вкусы. Поводом для создания эпиграммы явились статьи критика Н.И. Надеждина (1804–1856), опубликованные в «Вестнике Европы» и содержащие резко критические отзывы о сочинениях Пушкина, Баратынского (отсюда «наш Зоил») и других поэтов.

Зоил (IV в. до н. э.) – грамматик и ритор, преследовавший мелочной критикой сочинения Гомера; нарицательное имя злобного и придирчивого критика.

Когда-то Дмитриев бесил... – В 1806 г. М.Т. Каченовский опубликовал рецензию на третью часть «Сочинений и переводов» поэта-сентименталиста И.И. Дмитриева (1760–1837).

Бесил Жуковский... – В 1818 г. В.А. Жуковский выпустил сборник «Für Wenige. Для немногих», подвергшийся нападкам со стороны журнала «Вестник Европы». За Жуковского в 1819 г. вступился П.А. Вяземский, написав две эпиграммы («Вписавшись в цепь Зоилов строгих...» и «Чтоб полный смысл разбить в творениях певца...»), метившие, по-видимому, также в М.Т. Каченовского. Эпиграмма («Поверьте мне, фиглярин-моралист...»). – Печаталось вместе с эпиграммой А.С. Пушкина «Не то беда, Авдей Флюгарин...». Направлена против Ф.В. Булгарина, выпустившего в 1829 г. «нравственно-сатирический» роман «Иван Выжигин», наполненный банальными нравоучительными сентенциями. Баратынский в письмах пренебрежительно отзывался о романе, называя его «глупостью». Об эпиграмме Баратынского упомянул М.П. Погодин в письме к С.П. Шевыреву от 18 апреля 1829 г.: «Баратынский написал презлую эпиграмму на него: “Булгарин» уверяет нас, что красть грешно, красть стыдно”».

«Что пользы нам от шумных ваших прений?...» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма». Во всех публикациях, кроме издания 1835 г., печаталось: «Что пользы нам...» Вероятно, в издание 1835 г. вкралась опечатка («Что пользы вам»), которую устраняем: Написано по поводу непристойной журнальной перебранки (1829) между издателем «Московского телеграфа» Н.А. Полевым (1796–1864) и поэтом, переводчиком, критиком, издателем альманаха «Галатея» С.Е. Раичем (1792–1855), которая возмущала современников. 14 апреля 1830 г. Д.В. Давыдов писал А.Н. Бахметьеву: «Вы также пишете о журнальной нашей брани. Я совершенно согласен с Вяземским, точно надо перчатки надевать для чтения сих листов. Баратынский сделал на эту брань прекрасную эпиграмму, вот она: “Что пользы нам от шумных ваших прений?...” и т. д.».

К.А. Свербеевой. – Печаталось под заглавием «В альбом отъезжающей». Адресовано Екатерина (Катерине) Александровне Свербеевой (1808–1892), жене литератора Д.Н. Свербеева, близкого к московскому кругу Киреевских-Елагиных.

«Не ослеплен я музою моею...» – Печаталось под заглавием «Муза». В.Г. Белинский писал: «Нельзя вернее и беспристрастнее охарактеризовать безотносительное достоинство поэзии г. Баратынского, как он сделал это сам в следующем прекрасном стихотворении...» Критик привел полный текст стихотворения.

«Когда печалью вдохновенный...» – Печаталось под заглавием «Подражателям».

Отрывок. – Печаталось под заглавием «Сцена из поэмы “Вера и неверие”». Замысел поэмы не был полностью осуществлен. Слова заключительного монолога, завершившего диалог («В смиренье сердца надо верить И терпеливо ждать конца»), высечены на надгробном памятнике Баратынского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

«Чудный град порой сольется...» – Печаталось под заглавием «Чудный град».

Эпиграмма («В восторженном невежестве своем...»). – Направлена против Н.А. Полевого, который в 1829 г. начал критику «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. Совсем недавно Н.А. Полевого и Баратынского связывали дружеские отношения (на экземпляре книги «Стихотворения Евгения Баратынского» (М., 1827), хранящемся в Музее книги Российской государственной библиотеки, есть надпись: «Николаю Алексеевичу Полевому от преданного ему Баратынского»), но к 1829 г. Баратынский, как и весь пушкинский круг, уже был враждебно настроен к журналу «Московский телеграф» и самому критику. На свой аршин он славу нашу мерит... – Намек на купеческое происхождение и недостаточные исторические познания Н.А. Полевого, который тем не менее не постеснялся критиковать писателя, принесшего славу русской литературе.

«Своенравное прозвание...» – Обращено к жене поэта Анастасии (Настасье) Львовне Баратынской. Своенравное прозвание... – Как отметил М.Л. Гофман, в домашнем быту «своенравное прозвание» «переводится на язык прозы словом “Попинька”». Этим именем Баратынский называл Настасью Львовну в письмах.

Эпиграмма («Он вам знаком. Скажите, кстати...»). – Направлено против Н.А. Полевого и вызвано его памфлетом «Утро в кабинете знатного барина», в котором пародировалось стихотворение А.С. Пушкина «К вельможе».

Эпиграмма («Писачка в фебов двор явился...»). – Направлено против Н.А. Полевого, нападавшего на Пушкина и поэтов его круга. В ответ Баратынский обратил к Полевому стихотворения «В восторженном невежестве своем...», «Он вам знаком. Скажите, кстати...» и комментируемую эпиграмму, которую Н.А. Полевой пародировал в эпиграмме «Пришел поэт и пущен на Парнас...», подписанной «Гамлетов» с явным намеком на Баратынского. По поводу этой стихотворной полемики Пушкин писал: «Является колкое стихотворение (имеется в виду эпиграмма Баратынского. – В.К.), в коем сказано, что феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею за дурной тон и заносчивость, нестерпимую в хорошем обществе, – и тотчас в ответ явилась эпиграмма (имеется в виду эпиграмма Полевого. – В.К.), где то же самое пересказано немного похуже, с надписью «сам съешь»». Надоумко – литературный псевдоним Н.И. Надеждина, также отрицательно относившегося к Пушкину и самому Баратынскому, но в это время уже враждовавшего с Полевым и резко полемизировавшего с литературно-эстетической программой его журнала «Московский телеграф».

«Хотя ты малый молодой...» – Печаталось под заглавием «Эпиграмма». Адресат не установлен. А.М. Песков привел свидетельство М.П. Погодина, которому прочел эпиграмму Пушкин и который принял ее на свой счет.

С.Л. Энгельгардт. – При жизни Баратынского не было опубликовано. Напечатано И.С. Тургеневым в журнале «Современник» (1854, т. 47, № 10, с. 194). Посвящено Софье Львовне Энгельгардт (см. примеч. к стихотворению «При посылке “Бала” С. Энгельгардт»).

«Люблю я красавицу...» – Печаталось под заглавием «Лазурные очи».

«Не славь, обманутый Орфей...» – Печаталось под заглавием «Мой Элизий». Навеяно смертью А.А. Дельвига (14 января 1831 г.), которую Баратынский пережил тяжело. «Баратынский болен с огорчения», – сообщал Пушкин П.А. Плетневу. Сам поэт писал тому же адресату: «Потеря Дельвига для нас незаменима. Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений». Стихотворение впервые было напечатано в альманахе «Северные цветы на 1832 год», изданном Пушкиным в пользу семьи Дельвига. Вода забвенья – Лета (см. Словарь).

«Бывало, отрок, звонким кликом...» – Заключительное стихотворение сборника 1935 г. Послано поэту И.М. Языкову в письме. Л.Г. Фризман полагает (Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 628.), что в послании Н.М. Языкова «Е.А. Баратынскому» «есть строки, которые можно воспринять как ответ на данное стихотворение:

Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила

Поэзия. О будь же верен ей всегда!

Она одна тебе прибежище и сила,

Она твой крест, твоя звезда».

«В дни безграничных увлечений...» – Печаталось под заглавием «Элегия». Баратынский перевел ее на французский язык под названием «L'Harmonie» («Гармония»). Алкал безумец молодой... – Автоцитата из поэмы «Цыганка» («Наложница»).

«Где сладкий шепот...» – При жизни Баратынского не печаталось. Поэтом был сделан прозаический перевод на французский язык.

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Н.М. Языкову («Языков, буйства молодого...»). – Адресат послания – поэт Николай Михайлович Языков (1803–1846), с которым Баратынский сблизился в конце 1820-х годов. Посылая стихотворение Н.М. Языкову, Баратынский сопроводил его словами: «Вот тебе, милы Языков, несколько нескладных рифм, которые, однако ж, показывают, что я<о> тебе думал». Я познакомился с тобой... – В стихотворении речь идет не о знакомстве, которое состоялось 12 июня 1824 г., а о дружеском сближении, которое произошло после переезда Языкова в Москву в 1829 г.

«Храни свое неопасенье...» – Обращено, по-видимому, к неизвестной нам воспитаннице Смольного института (в списке стихотворений, принадлежавшем жене поэта, имело заглавие «Монастырка»), преобразованного в учебное заведение из бывшего женского монастыря и помещавшегося в том же здании. В Смольном воспитывалась мать поэта Александра Федоровна.

«Мой неискусный карандаш...» – Записано в альбоме С.Л. Энгельгардт рядом с рисунком поэта, на котором изображен финский пейзаж.

«Дитя мое, – она сказала...» – Печаталось под заглавием «Кольцо. С. Э – т». Написано по поводу подаренного женой Баратынского, Анастасией Львовной, кольца Софье Львовне, ее сестре.

«К чему невольнику мечтания свободы?» – Баратынский перевел это стихотворение на французский язык под названием «Soumission» («Покорность»).

«О, верь: ты нежная, дороже славы мне». – Обращено к Анастасии Львовне Баратынской, жене поэта.

«Есть милая страна, есть угол на земле...» – Навечно воспоминаниями о посещениях в 1826 г. подмосковного имения Мураново, принадлежавшего генерал-лейтенанту Льву Николаевичу Энгельгардту (1766–1836), на дочери которого был женат Баратынский. С 1836 г., после смерти Л.Н. Энгельгардта, управление имением перешло к Баратынскому. По его проекту был построен дом. Н.А. Обухова вспоминала: «Бабушка часто рассказывала нам, как он любил родину, русскую природу и как увлекался хозяйством. <...> Мой дед проявлял живейший интерес к земледелию, садоводству, огородничеству, занимался устройством лесопилки у себя в деревне». После кончины Баратынского Мураново на некоторое время пришло в упадок. Побывавший там Н.В. Путья писал жене о «грустных и унылых чувствах, которые возбуждает это место. Тут все живо напоминает покойного Евгения. Все носит светлые труды его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не могу удалить из памяти его стихи: “Тут не хладен бы я и в старости глубокой”».

В садах Армидиных... – Здесь: в сетях любви.

Армида – волшебница из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» – очаровала своего возлюбленного Ринальдо в саду.

Я помню ясный, чистый пруд... – Описание усадьбы в стихотворении очень точное; в то время, когда писалось стихотворение, недалеко от усадьбы находился пруд с тремя островками, покрытыми зеленью.

Она, которой нет... – Речь идет о Наталье Львовне Энгельгардт, свояченице Баратынского, умершей от чахотки в 1826 г. Языкову («Бывало, свет позабывая...»). – Навечно посланием Н.М. Языкова, обращенным к И.В. Киреевскому («Поэт, входу я горделиво...»), где есть стихи:

Не в том вся жизнь и честь моя,

Что проповедую науку

Свободно-шумного житья

И сильно-пьяного веселья –

Ученье младости былой.

Близка пора: мечты похмелья

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Моей камены удалой

Пройдут; на новую дорогу
Она свой глас перенесет
И гимн отеческому Богу
Благоговейно запоет,
И древность русскую, быть может,
Начнет она провозглашать.

По поводу послания Языкова Баратынский писал Киреевскому: «Языков расшевелил меня своим посланием... Как цветущая его муза превосходит наши бледные и хилые! у наших – истерика, а у ней настоящее вдохновение!» Посылая Н.М. Языкову письмо от 7 января 1832 г. с текстом стихотворения, Баратынский сопроводил его следующими словами: «Вот что внушило мне твое послание, исполненное свежести, и красоты, и грусти, и восторга. Мало одного таланта, чтобы писать по-своему, надо быть вдохновенным сердцем и наличною жизнью. Только твои стихи расшевеливают мне душу. Твои студенческие элегии дойдут до потомства; но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения».

Венчалась гроздьем и плющом... – т. е. вакхическими атрибутами.

Дай диадиму и порфиру... – т. е. облачи в царские одежды (диадема и порфира – корона и пурпуровая мантия, знаки царского достоинства).

...хулителю твой... – По всей видимости, Н.А. Полевой, обвинявший Языкова в бессодержательности и пустом удалстве.

Мадона. – Возможно, отзвук на поздние баллады Жуковского, о которых Баратынский писал: «Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слога и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне дает охоту рифмовать легенды». Предполагают, что такой рифмованной легендой и было стихотворение «Мадона».

Пиза – город в Италии, где находится знаменитая башня.

Корреджий – Антонио Корреджо (наст. фамилия – Аллегри; ок. 1489–1534), итальянский художник; его «Мадонны» отличались очарованием и особенной теплотой чувства.

«Кто неприменный мой ругатель?...» – Посылая стихотворение И.В. Киреевскому для журнала «Европеец», Баратынский писал: «Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени». Направлена против Н.А. Полевого, который дал уничтожающий отзыв о поэме Баратынского «Цыганка» («Наложница»), «предав» тем самым прежнюю общую приверженность романтическим идеям и совпав с «отрицателем» романтизма Н.И. Надеждиным.

На смерть Гёте . – Написано под впечатлением известия о смерти Гёте, который скончался 22 марта 1832 г. Зане – потому что, ибо.

Н. Е. Б... – При жизни Баратынского не печаталось. Опубликовано И.С. Тургеневым в журнале «Современник» (1854, т. 47, № 10, с. 155). Адресат стихотворения неизвестен.

К.А. Тимашевой. – Обращено к Екатерине (Катерине) Александровне Тимашевой (1798–1881), поэтессе, московской красавице.

«Я посетил тебя, пленительная сень...» – Печаталось под заглавием «Запустение. Элегия». Предполагают, что после издания 1835 г. стихотворение подверглось правке (65-я строка стала читаться: «Где я наследую несрочную весну»), однако доказательных документальных данных не обнаружено. Навечно воспоминаниями о посещении осенью 1833 г. родового имения Мара Тамбовской губернии, где Баратынский родился и где провел детские годы.

...заглохший Элизей... – здесь: когда-то богатое, а теперь пришедшее в упадок

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
родное гнездо.

Он не был мыслию, он не был сердцем хладен... – Речь идет об отце поэта, генерал-лейтенанте Абраме Андреевиче Боратынском (1767/68–1810); имение Мара было пожаловано ему Павлом I в 1796 г. Поселившись там после отставки, он превратил Мару в цветущую усадьбу, проявив при этом большой вкус и чувство изящного. По проектам А.А. Боратынского в саду были сооружены беседки, мостики, гроты, каскады, проложены аллеи и тропы.

Прияла прах его далекая могила... – Отец поэта умер в Москве и похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре.
«Вот верный список впечатлений...» – Предназначалось в качестве стихотворного предисловия к изданию стихотворений 1835 г., но напечатано не было.

Звезды. – Стихотворение (без заглавия) было вписано в цензурный экземпляр сборника «Сумерки», но затем снято, по-видимому, самим автором, поскольку в составе «Сумерек» не появилось. На этом основании печатаем с восстановлением заглавия по первой публикации в альманахе «Утренняя заря на 1840 год». Моэт, Аи – марки шампанского.

«На все свой ход, на все свои законы». – Критика Москвы в стихотворении сложилась под влиянием благоприятного впечатления от Петербурга, где Баратынский был зимой 1840 г.

«Спасибо злобе хлопотливой...» – При жизни Баратынского не печаталось. Опубликовано в «Русской беседе» с комментарием П.И. Бартенева: «Живя в Москве, Баратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и все жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности, пробудили его из этого усыпления. Он снова и деятельно принялся за работу, а когда его спросили, отчего произошла в нем такая быстрая перемена, он отвечал прилагаемым осьмистишием, случайно уцелевшим в памяти одной дамы, которая была коротко знакома с Баратынским».

Летийские струи – см. Словарь: Лета.

Как богоизбранный еврей, Остановили на закате Вы солнце юности моей! – Имеется в виду Иисус Навин, который, возглавляя битву иудеев с филистимлянами, по библейскому преданию, остановил солнце и луну, не заходявшие, пока филистимляне не были уничтожены: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Книга Иисуса Навина, 10, 13).

Флакк – Гораций Флакк Квинт (65–8 гг. до н. э.), римский поэт; воспевал любовь, дружбу, молодость и был знаменит сатирами.

«СУМЕРКИ»

«Сумерки» – последний прижизненный сборник стихотворений Е.А. Баратынского. Посылая его П.А. Плетневу, поэт писал, что «почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны выражать общее направление, общий тон поэта». Князю Петру Андреевичу Вяземскому. – Печаталось под заглавием «К князю П.А. Вяземскому». В «Сумерках» посвящение-послание было набрано курсивом и вынесено на шмуцтитул в знак посвящения адресату всего сборника. После выхода «Сумерек» Баратынский писал Вяземскому: «Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, едва ли не единственно для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите то и другое с обычным вашим благоволением к автору». Обращаясь к Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878), Баратынский демонстрировал свою приверженность поэтическим принципам пушкинского круга.

Да скоро минет скорбный час! – Имеется в виду болезнь дочери Вяземского Прасковьи Петровны (ум. в 1835 г.); когда писалось стихотворение (1834) Вяземский в связи с болезнью дочери находился за границей.

Звезды разрозненной плеяды! – Это определение равно относится и к Вяземскому, и к самому Баратынскому, так как оба принадлежали к пушкинской плеяде поэтов и оба в 1830-е годы находились в общественно-литературной изоляции, утратив бывшее влияние на литературную жизнь; сама же пушкинская плеяда перестала существовать

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru как единение поэтов.

Последний поэт. – Печатается по экземпляру «Сумерек» с поправками Баратынского (собрание К.В. Пигарев). Стихотворение представляет собой поэтический манифест, в котором провозглашена несовместимость поэзии, искусства вообще с промышленным, меркантильным, материалистическим «железным веком». Стихотворение было переведено автором на французский язык.

Вновь Эллада ожила... – Речь идет о современной поэту Греции, сбросившей турецкое иго в 1830 г. и ставшей самостоятельным государством.

Понт (гр.) – море.

...свет Уж праздного вертепа не являет... – Баратынский хочет сказать, что в мире не осталось места, где сохранилась бы не тронутая «промышленными заботами» природа, уединенное место для человека, который хочет предаться творческому отдыху, мечтательной праздности и вдохновению.

Сафо (Сапфо; VI в. до н. э.) – древнегреческая поэтесса; по преданию, бросилась с Левкадской скалы из-за безнадежной любви к юноше Фаону.
«Предрассудок! он обломок...» – Печаталось под заглавием «Предрассудок». Баратынский перевел стихотворение на французский язык.

Новинское. – Печаталось под заглавием «А.С. П<ушкин>у». Стихотворение посвящено А.С. Пушкину и навеяно его первым после Михайловской ссылки появлением (осенью 1826 г.) на Новинском бульваре, популярном месте гуляний московского света. Образ Пушкина тогда же запечатлели и другие поэты.

Приметы. – В стихотворении воплощена характерная для Баратынского мысль: чем глубже человек погружается в познание природы, тем более удаляется от нее, потому что, познавая умом природный механизм, он не совершенствует душу, сердце и становится неспособным понять ее дух.

«Всегда и в пурпуре и в злате...» – Кому посвящено стихотворение, не установлено. Баратынский перевел его на французский язык под названием «Срепусиле» («Сумерки»).

«Увы! Творец не первых сил!..» – Эпиграмма направлена против исторического романиста Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869), роман которого «Басурман» (1838) был напечатан по необычной орфографии. Неаполь возмутил рыбарь... – Имеется в виду рыбак Мазаньелло (фамилия образована путем стяжения настоящих имени и фамилии – Томмазо Аньелло; 1620–1647), который в 1647 г. поднял в Неаполе восстание против испанского владычества, захватил власть, но затем добровольно отказался от нее и удалился в свою хижину. Хотя Мазаньелло, как считают, проявлял признаки безумия, вице-король опасался его влияния на восставших, и 16 июля Мазаньелло был убит. Эти эпизоды нашли отражение в опере «Немая из Портичи» (1828) французского композитора Даниэля Франсуа Обера (1782–1871), шедший в 1830-е годы на петербургской сцене.

Недоносок. – Последний стих был запрещен цензурой и напечатан в искаженном виде: «В тягость твой простор, о вечность!» Слово «недоносок», как отметил Б.В. Томашевский, употреблено в качестве перевода с французского (avorton) и означает «рожденный до срока» и «мертворожденный».

Алкивиад (451–404 гг. до н. э.) – выдающийся афинский государственный деятель и древнегреческий полководец, племянник Перикла и воспитанник философа Сократа; отличался чрезвычайной самовлюбленностью, самонадеянностью и властолюбием; эти качества определили его бурную драматическую судьбу: он то подвергался гонениям, то становился кумиром сограждан. Жизнь Алкивиада описана Плутархом, Фукидидом и другими античными авторами. Она послужила темой драмы Шекспира «Тимон Афинский».

Ропот. – Печаталось первоначально без заглавия. В стихотворении, как полагают комментаторы, отразилось резкое неприятие Баратынским славянофильских взглядов (на это видят намек в стихах: «Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца, Дикого скифа творишь, жадного смерти врага»). Охлаждение к бывшим приятелям из славянофильской среды (И.В. Киреевский, Н.М. Языков, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев) началось еще во второй половине 1830-х годов. Ко времени появления славянофильского журнала «Москвитянин» (1841) взаимное отчуждение было полным. Причины до сих пор не выяснены. Так или иначе, в новом журнале Баратынский не

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru напечатал ни одного стихотворения, а славянофилы в «Москвитяине» «не заметили» смерти поэта и не отозвались на нее. П.А. Плетнев писал Я.К. Гроту: «В “Москвитяине” не сказали ни слова о Баратынском: такова злость литературных партий».

Мудрецу. – Печаталось вместе со стихотворением «Все мысль да мысль!..» под общим заглавием «Антологические стихотворения». Стих третий из-за возражений цензуры был заменен: «Нам, изволеньем Зевеса брошенным в мир коловратный».

«Филида с каждою зимою...» – При представлении рукописи в цензуру первый стих читался: «Филида с каждою весной...» Филида – условно-поэтическое имя; здесь под ним подразумевается Елизавета Михайловна Хитрово (1783–1839), дочь М.И. Кутузова, хозяйка известного салона, близкая приятельница Пушкина; она имела слабость даже в пожилом возрасте обнажать свои плечи, знаменитые красотой. Стихотворение, по-видимому, было написано после смерти Е.М. Хитрово. Это дало возможность Баратынскому решить комическую тему в трагическом ключе.

«Были бури, непогоды...» – Печаталось вместе с другими стихотворениями под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«На что вы, дни! Юдольный мир явления...» – Баратынский перевел стихотворение на французский язык под заглавием «Les Redites» («Повторения»). Юдольный – здесь: земной.

Коттерие. – Стихотворение не было пропущено цензурой, но находилось в составе сборника «Сумерки», представленного в нее. Обращено против славянофилов, которых Баратынский (письмо к Н.В. Путяте) называл «организованной коттерией». К письму есть важная приписка А.Л. Боратынской, жены поэта: «Баратынский упоминает в этом письме о коттерии московских литераторов, которая вредно действовала на его нежную, раздражительную душу. Какое влияние развивало в нем подозрения, и были ли они болезненными снами воображения или не вовсе снами, как он сам выражается, – здесь не место это разбирать: “Сумерки”, изданные в 1842 г., носят многие следы мрачных впечатлений, полученных им в это время». Баратынский перевел стихотворение на французский язык. Заглавие стихотворения – «Коттерие», по-видимому, написанное русскими буквами французское слово coterie, означающее: кружок, шайка заговорщиков, пользующихся неблагоприятными методами. «Аминь, аминь, – вещал он вам, – где трое вы будете – не буду с вами я». – Переделка с обратным смыслом евангельского изречения: «Истинно, истинно говорю вам, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них» (Мф. 18, 20).

Ахилл. – В стихотворении проявилась убежденность Баратынского в том, что человек, даже обреченный изначально на земные физические и духовные страдания, на вечную борьбу с дьявольскими силами, останется неуязвим и невредим, если обретет «живую веру» в божественные идеалы.

«Сначала мысль, воплощена...» – Стихотворение написано в то время, когда в среде русских литераторов в связи с распространением прозы развернулась полемика о сравнительных достоинствах поэзии и прозы. Одни литераторы отстаивали преимущества прозы, другие – поэзии. Одни считали, что поэзия – пустая, никчемная и праздная забава, другие писали, что проза слишком растянута и дрябла, что ей не хватает краткости и силы. Баратынский стоял на стороне тех, кто ставил поэзию выше прозы, и полагал, что современная ему проза не создает новые характеры, а приспособливает открытые поэзией к вкусам толпы. На этом основании он связывал бурное развитие прозы с упадком общественного самосознания и словесной культуры. Стихотворение встретило грубую критику со стороны Н.А. Полевого, который наряду с О.И. Сенковским также явился «отрицателем» поэзии: «Не плодя журнальной полемики, как не сказать, что такие стихи, как искушенная жена, как темная дева, не поднимают и не воплощают никакой мысли, кроме одной только: зачем писать стихи, если время их для нас прошло?» Крайне противоречивыми были и отзывы В.Г. Белинского.

«Еще, как патриарх, не древен я; моей...» – Печаталось вместе с другими стихотворениями под общим заглавием «Антологические стихотворения». Адресат стихотворения неизвестен (список А.Л. Боратынской озаглавлен «К. Г.»).

Главы не умастил таинственный елей... – Имеется в виду библейский рассказ (Ветхий Завет, Первая книга Царств, 16, 13) о том, как пророк Самуил помазал пастуха Давида как Божьего избранника, будущего царя и пророка («И взял Самуил рог с

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того
дня и после...»).

Непосвященных рук бездарно возложение! – Баратынский хочет сказать, что не был помазан таинственным елеем и не был богоизбранным, а потому его благословение с возложением рук не имеет силы (возложение рук – символический жест посвящения в сан священника; здесь речь идет о «деве», входящей в жизнь, и потому благословение не может иметь атрибутов таинства и нести сакральный смысл).
«Толпе тревожный день приветен, но страшна...» – Баратынский перевел стихотворение на французский язык под заглавием «Souscis materiels» («Материальные заботы»).

«Здравствуй, отрок сладкогласный..» – Обращено к сыну поэта Льву Евгеньевичу Баратынскому (1829–1906) «по поводу его первой стихотворной этюды», как свидетельствовал младший сын Николай.

«Что за звуки? Мимоходом...» – Печаталось под заглавием «Vanitas vanitatum» («Суета сует»).

Художник – здесь: ремесленник, поденщик в искусстве.

Горний клир – небесный хор.
«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» – Печаталось вместе со стихотворением «Мудрецу» под общим заглавием «Антологические стихотворения». Баратынский перевел стихотворение на французский язык под заглавием «Pas d'Oubli» («Забвенья нет»).

Скульптор. – В основу стихотворения лег древнегреческий миф о Пигмалионе и Галатее (см. Словарь).

Осень. – Последние строфы, по признанию Баратынского, писались под впечатлением известия о гибели Пушкина; в них символически – в образе «утекающей» с неба в бездонность «звезды» – нарисована трагическая для Баратынского потеря.

Брашна – кушанья.

Клас – колос.
«Благословен святое возвестивший!» – Печаталось вместе с другими стихотворениями под общим заглавием «Антологические стихотворения». В стихотворении сопоставлены два предания: о Нютоне, открывшем благодаря падению яблока закон всемирного тяготения, и о Еве, вкусившей по наущению дьявола яблоко и познавшей грех. Баратынский утверждает сложность любого душевного движения и нравственную оправданность постижения как сферы «сияния», так и области «тьмы».

Рифма. – Баратынский перевел стихотворение на французский язык.

Когда на играх Олимпийских... – Цитата из стихотворения К.Н. Батюшкова «К творцу “Истории Государства Российского”».

Музыкальные – музыкальные, поэтические.

Оратор восходил... Вития властвовал... – Сцена навеяна рассказом древнегреческого историка Фукидида о чтении на Олимпийских играх соей истории Геродотом (историка у Баратынского заменили оратор и поэт).

Народную фортуна... – здесь: судьбу, участь.

Горний мир – небесный, возвышенный.

Подобно голубю ковчега... – Имеется в виду библейский рассказ о голубе, которого Ной во время всемирного потопы выпустил из ковчега. «Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масляный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли» (книга Бытие, 8, 11).
С книгой «Сумерки» С.Н. Карамзиной. – Обращено к Софье Николаевне Карамзиной (1802–1856), дочери Н.М. Карамзина, с которой Баратынский познакомился в 1840 г. и в доме которой встречался с прежними друзьями – Жуковским, Вяземским, Плетневым.

На посев леса. – При жизни Баратынского не печаталось. В стихотворении отражен

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
факт биографии поэта: осенью (а не весной, как в стихотворении) 1842 г. Баратынский сажал деревья в мурановской роще. Этим биографическим эпизодом навеяно стихотворение, в котором явственны глухие намеки на вражду недавних друзей.

Праг – порог.

...сокрытый ров изрыв... – Имеется в виду библейское выражение: «Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил» (Псалтирь, пс. 7, 16). Поясняя это выражение и смысл всего стихотворения, П.А. Плетнев писал Я.К. Гроту: «У Баратынского “сокрытый ров” означает намек на разные пакости, которые в Москве делали ему юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств. <...> “Свои рога” есть живописное изображение глупца в виде рогато скотины. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечатал объяснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивши дубов и елей, которую и называет здесь дитятей поэзии таинственных скорбей, выражая последними словами мрачное расположение души своей, в каком он занимался и до которого довели его враги литературные».

Хрящ – здесь: почва, поприще.

«Когда твой голос, о поэт...» – Последнее стихотворение, напечатанное при жизни поэта.

...но сложился певцу Канон намеренным зоилом, Уже кадящим мертвецу, Чтобы живых задеть кадиллом. – В этих словах Баратынский имел в виду современную ему критику, которая в середине 1830-х годов при жизни Пушкина неодобрительно отзывалась о его творчестве, а после гибели стала хвалить на все лады, одновременно используя похвалу

Пушкину как хулу на живых поэтов, в том числе Баратынского, и преследуя их несправедливыми оценками.

«Небо Италии, небо Торквата...» – По воспоминаниям Н.В. Путяты, «Италия более прочих стран привлекала поэта... Однажды, еще в Москве, он воскликнул экспромтом: “Небо Италии, небо Торквата...” и т. д.». Однако к какому времени жизни в Москве относится экспромт – неизвестно. Вероятнее всего, он создан в сентябре 1843 г. перед отъездом в Италию, хотя есть и другие предположения. Торквата – Торквата Тассо.

«Когда, дитя и страсти и сомненья...» – Обращено к жене поэта, А.Л. Боратынской. Написано в Париже. Баратынский перевел стихотворение на французский язык.

Пироскаф. – Опубликовано с пометой «Средиземное море, 1844». Написано на пароходе во время морского переезда из Марселя (Франция) в Италию, но опубликовано уже после смерти поэта.

Пироскаф (гр.) – пароход.

С детства влекла меня сердца тревога В область свободную влажного бога... – В письме к матери А.Ф. Боратынской, юный Баратынский в середине 1810-х годов писал: «В самом деле, я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, чтобы меня занимало, – иначе я скучаю. Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, – произведению человеческого гения, повелевающего стихиями».

Ливурна – Ливорно, порт в Италии.

Дядьке итальянцу. – Последнее стихотворение Баратынского (29 июня 1844 г. он скончался). Посвящено памяти покойного воспитателя и домашнего учителя Баратынского в детские годы (с 1805 г.) Жьячинто (Джачинто) Боргезе.

Беглец Италии, Жьячинто... – Джачинто Боргезе эмигрировал из Неаполя после падения республики (1799). Об этих событиях Н.М. Карамзин писал: «Мы не сказали бы ни слова о бедственном Неаполе, если бы он, напоминая ужасы, в то же время не напоминал о славной дисциплине шести тысяч русских, которые спасли его от дальнейших иступлений итальянской злобы».

И в край, суровый край, снегами покровенный, Приставший с выбором загадочных картин... – Из Неаполя Боргезе тайно вывез в Россию несколько картин, которые

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
пытался продать русским богачам, но картины не имели спроса.

Почтенный... генерал... – Абрам Андреевич Боратынский, отец поэта.

Москва нас приняла... – в 1808 г. Боратынские переселились из Мары в Москву.

Всех макаронщиков тогда узнал я в ней... – т. е. познакомился со всей итальянской колонией в Москве.

...оставив там могилу дорогую, Опять увидели мы вотчину степную... – Имеется в виду могила отца: А.А. Боратынский внезапно скончался в Москве 24 марта 1810 г., после чего осиротевшая семья возвратилась в Мару.

...суворовских солдат, Входящих вопреки тех пламенных часов... – Русские войска под командованием А.В. Суворова вошли в Италию в 1799 г., несмотря на сопротивление французских пушек замка в Эльма; в мирное время залп этих орудий возвещал о наступлении полудня.

Тебе предстали и он... – Наполеон Бонапарт после битвы при Маренго (14 июня 1800 г.) снова занял Италию.

Минутный царь царей, но дивный кондотъери... – Наполеон Бонапарт стал французским императором в мае 1804 г., а в декабре того же года торжественно коронован Папой Пием VII в Париже. 18 марта 1805 г. Наполеон принял титул короля Италии и через три месяца на его голову возложили железную корону лангобардских королей; так он уподобился Карлу Великому, императору Священной Римской империи. Однако после Аустерлицкого сражения, согласно Пресбургскому миру, подписанному 26 декабря 1805 г., Священная Римская империя формально перестала существовать. Через несколько лет, в 1814 г., военная система Наполеона рухнула, и Италия обрела независимость от Франции. В словах «дивный кондотъери» содержится противоречивая оценка Наполеона: в одной стороны, он выступает как гениальный полководец, а с другой – как удачливый авантюрист (кондотъери – предводитель-авантюрист наемных военных отрядов Италии эпохи Возрождения).

...ты не забыл серебряные ложки... – Население Италии по приказу Наполеона сдавало свое серебро французам.

Едва ты узнику печальному британца Простил военную систему корсиканца. – Баратынский говорит, что Джачинто Боргезе так и не «простил» даже поверженному Наполеону-узнику, сосланному на остров Св. Елены, где его охраняли англичане, завоеваний Наполеона – полководца и императора, выходца с острова Корсика.

В альпийских молниях, приемлемый опалой... – После победоносных сражений возвратившийся в Россию Суворов был враждебно встречен Павлом I и подвергся опале.

И Цицеронов дом... – Имеется в виду вила знаменитого римского оратора, государственного деятеля и писателя Марка Туллия Цицерона (106–43 гг. до н. э.), которая находилась в Формии, на полпути из Рима в Неаполь; там Цицерон был убит.

...злачную пещеру... Где спит великий прах властителя стихов... – Речь идет о пещере близ Неаполя, где был похоронен римский поэт, автор поэмы «Энеида», Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.); согласно преданию, грот с его могилой существует и до сих пор.

Где в мраки Тенара открыл он путь Энею... – В поэме Вергилия «Энеида» (VI песнь) троянский царевич Эней спускается в царство мертвых и в садах Элизия встречает отца (мыс Тенар – одно из мест, откуда пролегал, по мифическим представлениям, путь в преисподнюю; там находилась пещера с пропастью, бывшая, как считалось, входом в подземное царство).

Марий – римский полководец и консул Гай Марий (155–86 гг. до н. э.).

Силла – римский полководец, диктатор Луций Корнелий Сулла (138–78 до н. э.). Марий – сторонник народной власти – и Сулла – защитник аристократии – были непримиримыми врагами.

Мелезы – мелиссы, многолетние травянистые растения с белыми или желтоватыми

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
цветами и лимонным запахом, дающие эфирное масло.

...даже эти лозы, Чей безымянный лист так преданно обник Давно из божества
разжалованный лик... – Речь идет о том, что некогда, в мифологические времена,
бога вина и виноделия Бахуса (см. Словарь: Вакха) украшали виноградные лозы и
вечнозеленый плющ, но теперь, в наши времена, Бахус уже не является божеством.

...сумрачный поэт, Дитя Британии... – Имеется в виду Байрон, с 1817 по 1823 г.
живший в Италии.

Поэмы

С. 174. Пирь. – Поэма неоднократно переделывалась и во втором издании встретила
цензурные препятствия. Печатаемая поэма вместе с «Эдой», Баратынский предпослал ей
эпиграф («Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн»),
напоминающий о печальной участи автора – «финляндского изгнанника». Резкость
эпиграфа смягчало предисловие: «Сия небольшая поэма писана в Финляндии. Это
своенравная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому
критическому разбору. Сочинитель писал ее в веселом расположении духа: мы
надеемся, что не будут судить его сердито». Тем не менее цензура потребовала
изменений. Поэту пришлось переделать стихи 118–119. Вместо:

Она свободою кипит,

Как пылкий ум, не терпит плена...

было напечатано:

Она отрадою кипит,

Как дикий конь, не терпит плена...

«Что говорить мне о новых надеждах, – сетовал В.А. Жуковский в письме П.А.
Вяземскому, – когда цензура глупее старого, когда Баратынскому не позволяют
сравнивать шампанское с пылким умом, не терпящим плена?» В издании 1835 г.
искаженные цензурой стихи переправлены:

Как страсть, как мысль, она кипит;

В игре своей не терпит плена.

Критика поэму хвалила. А.А. Бестужев в обзоре «Взгляд на старую и новую
словесность в России» писал: «“Пирь” Баратынского игривы и забавны». За
Баратынским с легкой руки А.С. Пушкина утвердилась слава «певца Пиров». В
«Пирах» «легкая», эпикурейская тема сливалась с иронической и элегической, и эта
особенность в какой-то мере уже предвещала зрелого Баратынского, что уловил В.Г.
Белинский: «“Пирь” собственно не поэма, а так – шутка в начале и элегия в конце.
Поэт, как будто только принявший воспевать пирь, заметил, что уже прошла пора и
для пиров и для воспевания пиров... У времени есть своя логика, против которой
никому не устоять... В “Пирах” г. Баратынского много прекрасных стихов».

Соломон – царь объединенного царства Израиля и Иудеи (ок. 965–928 гг. до н. э.),
по преданию, мудрец.

С. 176. В углу безвестном Петрограда... – Речь идет о дружеских пирушках молодых
поэтов, собиравшихся в 1818–1820 гг. у П.Л. Яковлева и др.

С. 178. Слепой владычицей сует... – т. е. фортуной (см. Словарь).

С. 180. Эда. – При жизни поэта поэма печаталась и в отрывках, и целиком, но
всегда без эпилога, не пропускавшегося цензурой. Впервые полностью, но без
эпилога, вместе с поэмой «Пирь». Здесь «Эде» предпослан эпиграф: «On broutte la
ou l'ju est attache Proverbe» («Где привязан, там и пасется. Поговорка») и
предисловие: «Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807
г., перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии».

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною
природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями,
страна сия была воспета Батюшковым, и камни ее звучали под конем Давыдова,
певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению шерманских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская и нравы ее жителей глубоко запечатлелись в его воображении. Что ж касается до остального, то сочинитель мог ошибиться, но ему казалось, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом “Кавказского пленника” и “Бахчисарайского фонтана”. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзией, он заметил, что подобные безделки принадлежал великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою».

Критика встретила поэму не столь единодушно восторженно, как поэму «Пиры». А.А. Бестужев, не принявший обыкновенного героя, разочарованно писал Пушкину, что «перестал веровать» в талант Баратынского и что «его Эда есть отпечаток ничтожности и по предмету и по исполнению». В этом отношении с ним согласился Ф.В. Булгарин, также признавший «предмет не пиитическим», а рассказ прозаическим и вялым: «Нет ни одной сцены занимательной, ни одного положения поразительного. Скучность предмета имела действие и на образ изложения: стихи, язык в этой поэме не отличные». Кроме того, Булгарин не увидел в поэме морального назидания. Отзыв В.Г. Белинского был двойственен: он отметил «безотносительную неважность» поэмы «в сфере искусства» и одновременно счел ее «написанной прекрасными стихами, исполненной души и чувства». По-иному оценили поэму Н.А. Полевой, И.В. Киреевский, П.А. Плетнев. Н.А. Полевой назвал поэму «мастерским произведением опытного поэта». Для него «Эда» стала «новым блестящим доказательством таланта Баратынского». Он утверждал, что и «обыкновенный предмет» вполне достоин поэзии. А.С. Пушкин был недоволен ни критикой поэмы, ни защитой ее Н.А. Полевым. Он сразу и в самых лестных выражениях приветствовал поэму. На критику Булгарина он ответил стихотворным обращением к Баратынскому:

Стих каждый в повести твоей

Звучит и блещет, как червонец.

Твоя чухоночка, ей-ей,

Гречанок Байрона милей,

А твой Зоил – прямой чухонец.

В письме к Дельвигу 20 февраля 1826 г. Пушкин воскликнул: «Что за прелесть эта “Эда”! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описания лифляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! – чудо!» В дальнейшем Пушкин не однажды подтверждал свою оценку «Эды». В неоконченной статье о «Бале» Баратынского Пушкин назвал «Эду» произведением замечательным «оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных...». В 1830 г., намереваясь дать разбор поэмы, он писал: «Перечтите его “Эду” (которую наши критики назвали ничтожной, ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий), перечтите сию простую восхитительную повесть; вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь».

С. 181. Шипок – бутон розы.

С. 185. Кникс (книксен) – поклон с приседанием, реверанс.

С. 193. Буйный швед опять не соблюдает договоров... – Отказ Швеции присоединиться к союзу России и Франции против Англии был воспринят как нарушение договоров 1780 и 1800 гг. об охране Балтийского моря, заключенных между Россией и Швецией, и привел к войне 1808–1809 гг., в результате которой от Швеции отошла Финляндия, присоединенная к России.

С. 195. Ботнические воды – Ботнический залив в Балтийском море, между Швецией и Финляндией.

С. 196. Тебе, давыдов, петь ее. – Д.В. Давыдов участвовал в Русско-шведской войне 1808–1809 гг.

С. 197. Бал. – Поэма печаталась в отрывках в журналах и альманахах. Впервые полностью – под одной обложкой с поэмой А.С. Пушкина «Граф Нулин» и под общим названием «Две повести в стихах» (СПб., 1828). Вошла в заново отредактированном виде в издание 1835 г. Поэма возникла под впечатлением от пребывания в Гельсингфорсе (ныне – Хельсинки) в конце 1824 – начале 1825 г. В Гельсингфорсе Баратынский был увлечен А.Ф. Закревской, выведенной в «Бале» под именем Нины (об А.Ф. Закревской см. комментарии к стихотворению «Как много ты в немного дней...»).

Начало работы над поэмой относится к первым месяцам 1825 г. В марте 1825 г. Баратынский сообщал Н.В. Путяте: «Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве...» 29 марта 1825 г. Баратынский пишет тому же Н.В. Путяте: «Благодарю тебя за похвалы моему отрывку. В самой поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она (т. е. А.Ф. Закревская. – В.К.) моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, а мне не найти лучшего и законнейшего критика». По-видимому, работа продвигалась довольно быстро, потому что приблизительно в апреле 1825 г. Баратынский сообщил поэту И.И. Козлову: «Я до половины написал новую небольшую поэму. Что-то из нее выйдет! Главный характер щекотлив, но смелым Бог владеет». Однако Баратынский закончил поэму лишь в первой половине октября 1828 г.

В основе поэмы – столкновение двух сильных характеров, психологическая борьба между ними на фоне сатирически обрисованного московского света. Осознавая свою героиню «работой томительной мечты» и подчеркивая: «Нет сердца в ней... В ней жар упившейся вакханки, Горячий жар – не жар любви», Баратынский в то же время признает яркую исключительность ее натуры. В письмах Н.В. Путяте двойственность его отношения к А.Ф. Закревской особенно очевидна: «Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия». Сожалея о сжигающих ее страстях и сочувствуя ее невольным страданиям, Баратынский пишет Путяте, что «желал бы видеть ее счастливой». Поэтический вымысел «Бала» строится на предположении о том, что случилось бы с подобной женщиной, никогда по-настоящему не любившей, но вдруг испытывавшей подлинное чувство. Эта исключительность характера героини, презиравшей светские приличия и движимой губительными страстями, и вместе с тем исключительность ситуации, в которую попадает Нина, сплетают драматический узел поэмы. Героиня вынуждена вести «поединок роковой» не только со светом, с Арсением, но и с собой.

«Бал» был встречен разноречивыми оценками. «Дамский журнал» и «Атеней» обвинили поэта в безнравственности. Критик Н.И. Надеждин в журнале «Вестник Европы» писал: «Это суть прыщички на лице вдовствующей нашей литературы». Однако другие критики, газеты, журналы и альманахи иначе оценили поэму. Благожелательно отзывались о ней «Северная пчела», «Московский телеграф», «Бабочка», «Сын Отечества», «Галатее». О.М. Сомов в альманахе «Северные цветы на 1829 год» увидел в поэме «неотвергаемые достоинства», «заманчивой ход», «движение, быстроту рассказа, верность описаний, свежесть красок и неожиданную, поразительную развязку». Столь же высоко оценил поэму и И.В. Киреевский, полагавший, что «эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружную связь целого и совершенством отделки». Внимание Н.А. Полевого привлек традиционный романтический конфликт между героями и средой, природными свойствами героев и условностями среды, к которой они принадлежат. На общем критическом фоне выделялся проницательный отзыв Пушкина, отметившего новизну выведенных Баратынским характеров и уловившего живое сочувствие поэта к героине, впрочем, по справедливому мнению Пушкина, недостаточно смело прозвучавшее в поэме. В черновом наброске статьи в связи с выходом поэмы «Бал» (1828) Пушкин писал: «Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красок и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шуточный и страстный, метафизику и поэзию... Нина исключительно занимает нас. Характер ее совершенно новый, развит *con amore* [2], широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики – для нее расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии». Касаясь образа Арсения, Пушкин продолжал: «Арсений есть тот самый, кого должна была полюбить

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
бедная Нина. Он сильно овладел ее воображением и, никогда вполне не удовлетворяя ни ее страсти, ни любопытству, должен был до конца сохранить над нею роковое свое влияние (ascendant)». В тоне легкого упрека Пушкин сделал лишь одно замечание: «Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатирически описывает нам ее похороны и шуткою кончит поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню. Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе павшего, но еще очаровательного создания».

В статье «Стихотворения Е. Баратынского» (1842) Белинский, неудовлетворенный развязкой завязавшейся трагедии («похожа на водевиль»), высоко оценил глубину характеров Нины и Арсения. О Нине он писал: «И этот демонический характер в женском образе, эта страшная жрица страстей наконец должна расплатиться за все грехи свои...» В Арсении, «в этом “посланнике рока”, – продолжал критик, – должно предполагать могучую натуру, сильный характер, – и в самом деле портрет его, слегка, но резко очерченный поэтом, возбуждает в читателе большой интерес...» Настаивая на том, что целое не удалось Баратынскому, Белинский воскликнул: «А сколько поэзии в его поэме, какими чудными стихами наполнена она, сколько в ней превосходных частностей!..»

С. 192. В сюрсах шесть – карточный термин.

Людмила, Лаиса – условно-поэтические имена.

С. 200. Эпикур – см. комментарии к стихотворению «В глуши лесов счастлив один...».

Нинона – Нинон де Ланло (1616–1706), знаменитая французская куртизанка, до старости сохранившая красоту и обаяние; имя ее стало нарицательным.

С. 208. Пашут – здесь: распахиваются.

С. 209. Клоб – имеется в виду Английский клуб в Москве, предназначенный для собраний избранной, главным образом аристократической, публики.

С. 212. ...сухощавые Сатурны... – здесь: изображения римского бога времени, символизирующего смерть.

С. 213. В журнале дамском... – Имеется в виду «Дамский журнал» (1823–1833), издававшийся в Москве эпигоном Н.М. Карамзина князем П.И. Шаликовым. Поэма Баратынского «Бал» получила в нем отрицательный отзыв.

С. 214. Переселение душ. – Впервые поэма напечатана в пушкинско-дельвиговском альманахе «Северные цветы» на 1829 г. Вошла в сборник 1835 г. Точная дата не установлена. Е.Н. Купреянова полагает, что поэма создана не ранее конца 1828 – начала 1829 г., после окончания поэмы «Бал», основываясь на заключающем поэму обращении к жене (со стиха «Что я прибавлю, друг мой нежный?»), где «Переселение душ» охарактеризовано как «первый плод мечты игривой», «новой жизни первый плод». Считая «Бал» произведением, завершающим период «мятежной» жизни (до женитьбы) Е.Н. Купреянова высказала предположение, что «Переселение душ» написано после поэмы «Бал».

С. 215. Мемфис – столица Древнего Египта.

С. 217. Кот – считался в Древнем Египте священнейшим из животных.

Длань – ладонь, рука.

С. 218. Лотос – священное растение в Древнем Египте, обладавшее магическими свойствами.

Каракул – здесь: разводы, узоры.

С. 219. Кадила – церковный сосуд, курильница на цепочках, в которую на угли кладется ладан.

Кошница – плетеная корзина.

С. 220. Позор – здесь: зрелище.

С. 223. Цыганка. – Работа над поэмой была начата Баратынским осенью 1829 г. в

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Маре. Посылая отрывок из нее И.В. Киреевскому 29 ноября 1829 г., поэт писал: «По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пьесах, и поэма ультраромантическая. Пишу ее, очертя голову». В 1830 г. поэма в целом закончена, потому что 7 января 1831 г. А.С. Пушкин отзывается о ней в письме к П.А. Плетневу: «Кстати: поэма Баратынского чудо». При жизни Баратынского неоднократно печаталась в отрывках и целиком. Впервые в полном виде отдельной книжкой в 1831 г. под заглавием «Наложница».

Читательского успеха поэма не имела. В печати появились резко отрицательные отзывы Н.И. Надеждина, Н.А. Полевого и П.И. Шаликова. Помимо отрицательных, поэма удостоилась и благожелательных отзывов в «Литературной газете» и журнале «Европеец» (отзыв И.В. Киреевского).

Особенно значительной была оценка И.В. Киреевского, посвятившего поэме отдельную главу в «Обзоре русской литературы за 1831 год». Он писал: «Вся правда жизни представляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической истройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию». И далее: «...часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзией, такою идеальной грустиею, что, не отрываясь от гладкого, вощеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и просторную». Это место статьи И.В. Киреевского чрезвычайно понравилось Баратынскому, который в письме от 22 февраля 1832 г. откликнулся на него: «Разбор “Наложницы” для меня истинная услуга... Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную – заставила меня восторгнуться от радости, ибо это–то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже».

Похвальный отзыв И.В. Киреевского содержал также критический упрек, отнесенный, впрочем, не столько к «Наложнице», сколько к жанровой разновидности подобных поэм вообще: «Однако, несмотря на все достоинства “Наложницы”, нельзя признаться, что в этом роде поэм, как в картинах Миериса [3], есть что-то бесполезно стесняющее, что-то условно-ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою».

В пушкинском кругу поэма Баратынского, а также обзор Киреевского вызвали одобрение. Пушкин писал Киреевскому 4 февраля 1832 г.: «Ваша статья о Годунове (в той же статье критик анализировал и трагедию “Борис Годунов”. – В.К.) и о Наложнице порадовали все сердца; насилу-то дождалась мы истинной критики. <...> Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатюр...» Но в том же кругу раздавались и голоса, порицающие некоторые частности. О заинтересованности Баратынского критикой, исходящей от друзей, свидетельствует его письмо к И.В. Киреевскому от 29 ноября 1831 г.: «Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей поэмы». По-видимому, отзыв Жуковского и повлиял на изменение названия, поскольку в издании 1835 г. поэма появилась под новым заглавием «Цыганка».

Белинский в статье «Стихотворения Е. Баратынского» (1842) высказал о ней следующее суждение: «“Цыганка” исполнена удивительных красот поэзии, но опять-таки в частности; в целом же не выдержана. Отравительное зелье, данное старую цыганкою бедной Саре, ничем не объясняется и очень похоже на *deus ex machina* (искусственное разрешение. – В. К.) для трагической развязки во что бы то ни стало. Чрез это ослабляется эффект целого поэмы, которая, кроме хороших стихов и прекрасного рассказа, отличается еще и выдержанностью характера».

С. 224. Строй догоревших до бумаги... уже бледнеющих свечей. – Свечи снизу обертывались бумагой, чтобы легче было их переносить.

С. 225. Минувших дней воспоминанья... – Изменный стих из «Песни» («Минувших дней очарованье...») В.А. Жуковского.

С. 226. Пенаты – здесь: родной дом.

Неделя светлая – пасхальная неделя, начинающаяся с пасхального воскресенья.

Новинское – см. комментарии к стихотворению «Новинское. А.С. Пушкину».

С. 227. Клепер (нем. der Klepper – кляча, лошаденка) – порода низкорослых лошадей, обычно используемых в цирковых аттракционах; как следует из контекста, обученная лошадь могла распознавать четные и нечетные номера.

С. 229. Пресненские пруды – излюбленное место гуляний дворянской Москвы в 1820–1830-е годы.

С. 238. Котильон – старинный танец, кадрили, перемежавшаяся другими бальными танцами; им обычно заканчивались балы.

С. 239. Примите исповедь мою... – цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4, строфа XII, стих 13).

Свою запутанную совесть Он перед Верой обнажил... – Реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XIX, стихи 9–10: «Свою доверчивую совесть Он простодушно обнажал»).

С. 242. Великий пост уж подходил и с Верой скорою разлукой. Разлукой долгою грозил! – На время Великого поста, перед пасхальной неделей, прекращались балы, закрывались увеселительные заведения.

С. 243. Кокетка записная – выражение, встречаемое и в «Евгении Онегине»: «Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток записных!..»

С. 253. Стогны – площади.

С. 255. Пред знакомым домом Остановились. – Л.Г. Фризман полагает, что имеется в виду ресторан «Яр», располагавшийся на Кузнецком мосту. (Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 640.)

Египетское племя – цыгане; цыгане выдавали себя за выходцев из Египта; принято считать, что их предки вышли из Индии.

Проза

С. 258. Перстень. – Повесть напечатана впервые в журнале «Европеец».

С. 262. Филипп II (1527–1598) – испанский король, поддерживал инквизицию.

С. 266. Эккартсгаузен – Карл фон Эккартхаузен (1752–1803), немецкий писатель.

Словарь мифологических имен и названий

Аврора – богиня утренней зари (рим. миф.).

Адонис – юноша необычайной красоты, возлюбленный богини Афродиты (гр. миф.); символ редчайшей мужской красоты.

Аид (Айдес) – бог подземного царства; царство мертвых (гр. миф.).

Аквилон – бог северного ветра (рим. миф.); поэтическое наименование сильного северного ветра.

Амур – см. Эрот.

Аониды – одно из прозвищ муз (по названию области, прилегающей к горе Геликон; рим. миф.).

Апис – священный бык (егип. миф.).

Аполлон – бог поэзии (гр. миф.); см. Феб .

Арей – бог войны (гр. миф.).

Афродита – богиня плодородия, чувственной любви, красоты и любовного очарования (гр. миф.); красавица. В римской мифологии – Венера.

Ахилл – герой Троянской войны (гр. миф.). По мифу, его мать, морская богиня Фетида, окунула младенца Ахилла в воды Стикса, и он стал неуязвимым, за исключением пятки, за которую держала его мать, опуская в подземную реку (см. Фетида, Стикс).

Вакх – прозвище Диониса, бога растительности и виноградарства, виноделя, пиров и удовольствий (гр. миф.).

Галатея – морская нимфа; Пигмалион создал ее статую из слоновой кости, которую оживила в награду скульптору Афродита (гр. миф.).

Геликон – гора, на которой обитали музы (гр. миф.); место поэтического вдохновения.

Гея – богиня земли (гр. миф.); олицетворение земли.

Грации – богини красоты, радости, олицетворяют женские прелести (рим. миф.); красавицы, обладающие всеми совершенствами. В греческой мифологии – хариты.

Дафна – нимфа, которая, спасаясь от влюбленного Аполлона, обратилась за помощью к богам, превратившим ее в лавр (гр. миф.).

Делия – возлюбленная римского поэта Тибулла; условно-поэтическое имя.

Диана – богиня луны и богиня – покровительница охоты (рим. миф.); в греческой мифологии – Артемида.

Дриады – нимфы – покровительницы деревьев (гр. миф.).

Закоцитная сторона – см. Коцит.

Зевс (Зевес) – верховный бог греков, царь и отец богов и людей, в его власти находились гром и молния (гр. миф.).

Зефир – бог западного ветра (гр. миф.); приятный и мягкий ветер.

Изида – жена Озириса, богиня неба, земли и ада (егип. миф.).

Игея – богиня здоровья, дочь Эскулапа (рис. миф.).

Камены – богини поэзии, искусства и наук (рим. миф.); иносказательно – вдохновение. В греческой мифологии – музы.

Кастальский ключ (ручей) – источник на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам (гр. миф.); источник вдохновения.

Киприда – одно из прозвищ Афродиты; остров Кипр, на который она вышла из морской пены, – центр ее культа.

Климена – нимфа-океанида, обитающая в океане, дочь Океана; по одним мифам, жена Прометея, по другим – Феба (гр. миф.); условно-поэтическое имя.

Ком – бог пиршества (гр. миф.).

Коцит – река в подземном царстве, приток Стикса и Ахерона (гр. миф.).

Купидон – бог любви (рис. миф.); см. Амур и Эрот.

Леда – царская дочь, необыкновенная красавица; согласно мифу, Зевс, плененный ее красотой, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Евроте, и овладел ею (гр. миф.).

Лель – бог любви, покровитель пастухов и певцов (слав. миф.).

Лета – река забвения, протекающая в Аиде; глоток воды из нее заставляет забыть землю и жизнь на земле (гр. миф.).

Марс – бог войны (рим. миф.).

Медея – колхидская царевна, волшебница; страстно полюбив вождя аргонавтов Ясона, помогла ему овладеть золотым руном, но затем, когда Ясон изменил ей, охваченная ревностью, отомстила ему убийством своих детей (гр. миф.).

Менада – одна из спутниц Диониса; менады сопровождали его в венках из плюща и были одеты в шкуры диких животных (гр. миф.); в римской мифологии – вакханки.

Ментор – друг Одиссея, воспитатель его сына Телемаха (гр. миф.); наставник юношества; в ироническом смысле – назидательный советник.

Мом – олицетворение злословия и насмешки; в мифе рассказывается, что Мом лопнул от злости, не найдя в Афродите никакого изъяна.

Музикийский – т. е. принадлежащий музам (первоначально – богиням пения, а затем – искусств) и связанный с ними (гр. миф.); музыкальный.

Наяды – нимфы вод (гр. миф.).

Оден (Один) – бог бурь и битв (сканд. миф.).

Озирид (Озирис) – бог солнца, исчезающий зимой и возрождающийся весной (егип. миф.).

Орк – божество смерти, доставляющее людей в подземный мир; орковые поля – подземный мир (рим. миф.):

Орфей – легендарный певец, изобретатель музыки и стихосложения; его искусство заставляло растения склонять ветви, камни сдвигаться, укрощало диких зверей (гр. миф.).

Паллада – одно из прозвищ Афины, богини неба, повелительницы туч и молний, богини войны, мудрости и искусства (гр. миф.).

Парнас – горный массив в Греции; место обитания Аполлона и муз (гр. миф.); сообщество поэтов.

Пафос – город на Кипре, где находился храм – центр культа Афродиты (гр. миф.); пафосские пилигримки – паломницы к храму Афродиты.

Пегас – крылатый конь, который служил музам и выбил копытом Иппокрену – источник поэтического вдохновения (гр. миф.); символ поэтического вдохновения.

Пенаты – боги – хранители домашнего очага (рим. миф.).

Пенелопа – супруга царя острова Итаки Одиссея, остававшаяся верной ему в течение его двадцатилетнего отсутствия (гр. миф.); идеал женского благородства и супружеской верности.

Пинд – горный хребет в Греции, на горах которого обитали Аполлон и музы (гр. миф.).

Прометей – титан, похитивший огонь с Олимпа и научивший людей пользоваться им, за что Зевс приковал его к скале Кавказа и посылал орла клевать его печень (гр. миф.).

Сатурн – бог времени, который, согласно мифу, пожирал собственных детей (рим. миф.); символ беспощадной и неумолимой смерти.

Стикс – река в подземном царстве (гр. миф.).

Тантал – герой, оскорбивший богов и похитивший у них нектар и амбросию, за что боги ввергли его в подземное царство, где он стоял по горло в воде и терзался голодом и жаждой: как только он пытался сорвать плод или испить, ветви с плодами тут же отодвигались, а вода отступала (гр. миф.).

Урания – эпитет Афродиты как олицетворение чистой, возвышенной любви; муза астрономии (гр. миф.).

фавн – бог лесов и полей, покровитель стад и пастухов; фавны – веселые козлоногие существа, постоянные спутники Вакха (рим. миф.).

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
Феб – см. Аполлон; буквально: светлый. Аполлон – бог солнечного света (гр. миф.); в переносном смысле – символ мудрости.

Фетида – морская богиня (гр. миф.).

Филомеда – здесь: соловей.

Флора – богиня цветов, юности и ее удовольствий (рим. миф.).

Фортуна – римская богиня счастья, случая, удачи изображалась женщиной с рогом изобилия, иногда стоящей на шаре или колесе с повязкой на глазах (признак изменчивости счастья) (рим. миф.).

Хаос – зияющее, пустое пространство, существовавшее до создания мира (гр. миф.).

Хариты – см. Грации.

Цецера – древняя италийская богиня произрастания растений и подземного мира; богиня плодородия.

Цитера – одно из прозвищ Афродиты, центром культа которой был остров Цитера (Кифера) (гр. миф.).

Цирцея (Кирка) – волшебница с острова Эя, превратившая спутников Одиссея в свиней, а его державшая на острове год (гр. миф.); иносказательно – красавица-обольстительница.

Элисий (Элизий, Элизей, Элизийские поля) – загробный мир, поля, где блаженствуют праведники (гр. миф.).

Эмпирей – высшее небо, озаренное невещественным светом; обиталище богов в античной мифологии и ангелов, блаженных душ – в христианской.

Эол – бог ветра, повелитель ветров (гр. миф.).

Эрев (Эреб) – олицетворение одного из начал мира – вечного мрака (гр. миф.).

Эрот – бог любви (гр. миф.); см. Амур, Купидон.

Эфир – олицетворение верхнего, лучезарного слоя воздуха, считавшегося местопребыванием Зевса (гр. миф.).

Япетов сын – Прометей.

Примечания

1 фамилия Баратынский обычно употребляется при обращении к обстоятельствам жизни сочинителя. Начертание «Баратынский» относится к творчеству и выступает своего рода псевдонимом поэта. В настоящем издании для удобства читателей всюду употребляется «Баратынский».

2 с любовью (ит.).

3 Франц ван Миерис (Мьерис; 1635–1681) – голландский художник-миниатюрист. Сравнивая Баратынского с Миерисом, Киреевский, как пояснил он в письме к Пушкину от марта-апреля 1832 г., имел в виду следующее: «Я сравнивал его с Мьерисом не потому, чтобы находил сходство в их взгляде на вещи, или в их таланте, или вообще в поэзии их искусства; но только потому, что они похожи в наружной отделке и во внешней форме».

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://baratynsky.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

Стихотворения. Поэмы. Проза. Евгений Абрамович Баратынский, Валентин Иванович Коровин baratynsky.ru
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!